



П. А. Дружинин

**ИДЕОЛОГИЯ
И
ФИЛОЛОГИЯ**

ДЕЛО КОНСТАНТИНА
АЗАДОВСКОГО

Гуманитарное наследие

Петр Дружинин

**Идеология и филология. Т. 3.
Дело Константина Азадовского.
Документальное исследование**

«НЛО»

2016

УДК 340.158(47+57)"198"

ББК 83.3 т(3)62

Дружинин П. А.

Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского.
Документальное исследование / П. А. Дружинин — «НЛО»,
2016 — (Гуманитарное наследие)

ISBN 978-5-4448-0458-2

Ленинград, декабрь 1980 года. Накануне Дня чекиста известному ученому, заведующему кафедрой иностранных языков, и его жене подбрасывают наркотики. Усилия коллег и друзей – от академиков Михаила Алексеева и Дмитрия Лихачева в Ленинграде до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова в США – не в силах повлиять на трагический ход событий; все решено заранее. Мирная жизнь и плодотворная работа филолога-германиста обрываются, уступая место рукотворному аду: фиктивное следствие, камера в Крестах, фальсификация материалов уголовного дела, обвинительный приговор, 10 тысяч километров этапа на Колыму, жизнь в сусуманской колонии, попытка самоубийства, тюремная больница, освобождение, долгие годы упорной борьбы за реабилитацию... Новая книга московского историка Петра Дружинина, продолжающего свое масштабное исследование о взаимоотношениях советской идеологии и гуманитарной науки, построена на множестве архивных документов, материалах КГБ СССР, свидетельствах современников. Автору удалось воссоздать беспощадную и одновременно захватывающую картину общественной жизни на закате советской эпохи и показать – через драматическую судьбу главного героя – работу советской правоохранительной системы, основанной на беззаконии и произволе.

УДК 340.158(47+57)"198"

ББК 83.3 т(3)62

ISBN 978-5-4448-0458-2

© Дружинин П. А., 2016

© НЛО, 2016

Содержание

Введение	7
Глава 1	15
Глава 2	27
Светлана	27
Обыск	33
Глава 3	39
Книги и фотографии	39
Сопротивление	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52

П. А. Дружинин
Идеология и филология. Дело
Константина Азадовского. Том 3

© Дружинин П. А., 2016

© ООО «Новое литературное обозрение», 2016

Введение

Нам выпала великая честь

Жить в перемену времен...

Б.Г.

Тема «Интеллигенция и власть» остается одной из самых увлекательных и одновременно одной из самых печальных страниц отечественной истории XX века. Трагизм, присущий этим взаимоотношениям, характеризует их не только в эпоху Большого террора или «борьбы с космополитизмом», но и в более позднее время, которое в сегодняшнем восприятии вообще не ассоциируется с таким понятием, как «тоталитаризм», то есть в 1970–1980-е годы.

Интеллигент, вкусивший во всей полноте последние годы советской власти – эпохи невиданного могущества полицейского режима, вряд ли может усомниться в том, что с точки зрения соблюдения демократических свобод этот период истории невообразимо далек от нравственного идеала. Однако свидетели той «прекрасной эпохи» уходят, унося чувство отращения в мир вечности. Новые поколения, воспитанные не суровой и беспросветной реальностью, а мифотворчеством последних лет, с редким единомыслием выдвигают тезис, будто на излете советской власти в стране «было хорошо». Если такая точка зрения и справедлива, то лишь в сравнении с 1930-ми годами (что, честно говоря, похвала сомнительная). Но безусловно, что сегодня мы можем воочию наблюдать формирование quasi-истории, которая уже преобладает над реальной действительностью исторических процессов 1970–1980-х годов.

Эта книга, посвященная уголовному преследованию известного филолога и переводчика Константина Азадовского, открывает перед нами механизм системы подавления интеллигенции, слаженно и безотказно функционировавшей в Советском Союзе на закате социалистического строя. То обстоятельство, что арестованный не принадлежал к так называемым диссидентам, а был талантливым и многообещающим ученым, представляется особенно важным, потому что история его преследования – это ни в коем случае не история ареста и осуждения очередного «политического». Это история единоборства советской государственной системы с отдельным человеком, деятелем гуманитарной науки, филологом-германистом и переводчиком. Вокруг этой драмы со временем появилось столь много участников как со стороны государственной машины, так и со стороны интеллигенции, что из персонального дела оно переросло в показательный процесс, наглядно иллюстрирующий эту «благоприятную» эпоху в целом.

Противостояние государства и интеллигенции имеет у нас давние традиции. Будучи пятым колесом, с неумолкающим скрипом своего особого мнения, мыслящая и творческая интеллигенция добавляла в общественные процессы XX столетия свою узнаваемую ноту, вносящую диссонанс в громогласный хор строителей социализма. Власть считала эту ноту фальшью, интеллигенция – голосом совести. Однако сама ситуация, когда некто «шагает левой», была неприемлема для тоталитарного режима. И потому с вольнодумцами успешно справились.

Долгие годы использовался универсальный и действенный метод, когда одну часть интеллектуальной элиты удавалось купить, другую – запугать. Подкуп мог быть различным – от возможности занимать определенные посты до орденов и дач; запугивание тоже имело свои градации – от проработок на собраниях до арестов и судебных процессов с последующей отправкой в лагерь. Так сохранялось зыбкое равновесие. Однако у интеллигенции есть еще одна особенность: всегда сохраняется какая-то группа, которую нельзя ни купить, ни запугать. Эффект от таких людей, которых во все времена было очень немного, подобен щепотке дрожжей и способен привести в движение политически лояльные слои общества. С такими выскочками

у нас справлялись без реверансов, одновременно напоминая и всей интеллигенции, чтобы она не слишком кичилась своей миссией «мозга нации», потому что «на деле это не мозг, а говно» (В.И. Ленин).

Хрущевская оттепель, выпустившая, как джинна из бутылки, вирус свободомыслия, сильно поколебала этот «общественный договор». И поколение шестидесятников, которое не прошло через унижительный смертельный страх, когда арестовывают кого-то по соседству, оказалось заметно смелее поколения своих родителей. Все большее число образованных и способных людей помышляли о свободе творчества. Подобные разговоры и разговорчики о гражданских свободах в «буржуазном духе» неминуемо начинали представлять опасность для государства.

Чтобы очистить страну от буржуазной пропаганды, в 1967 году было основано Пятое управление КГБ СССР, которое занималось «идеологическими диверсантами». Оно и держало прогрессивных интеллигентов и выросших из их среды диссидентов в узде, периодически отправляя в тюрьмы и лагеря по таким статьям, как 70 (антисоветская агитация и пропаганда) или 190-1 (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй).

При этом установились и негласные «правила игры», которые действовали в советском обществе 1970–1980-х годов. Они гарантировали, что неучастие в диссидентской деятельности (а тем более сотрудничество с органами госбезопасности) есть верное средство свободного существования гуманитарного ученого в СССР.

История Азадовского показывает, что и это негласное правило было неправдой: повиновение свободомыслящего интеллигента системе не превращало его автоматически в частицу этой системы. «Инакомыслящий», хотя бы и пытающийся приспособиться, рано или поздно обнаруживал себя словами или поступками, диктуемыми не линией руководства, но голосом совести или требованиями чести. А наличие армии осведомителей способствовало раскрытию и ликвидации чуждых элементов.

«Коммунистические формации, – заметил в свое время Яков Гордин, – всегда обладали биологическим чутьем на чужака, носителя иной политической, нравственной, литературной – какой угодно! – культуры. Даже если внешне он вел себя лояльно». Именно об одном из таких «чужаков», жизнь которого была растоптана системой, эта книга.

Константин Маркович Азадовский был гуманитарием, свободомыслящим человеком, который сформировался в 1960-е годы. Но когда времена оттепели сменились временем застоя, он так и не сумел спрятаться в панцирь.

Как и многие шестидесятники, близкие к неофициальной культуре, Азадовский не был в восторге от реалий советского строя. Однако то, что он в 1980 году вместе со своей будущей женой был арестован, демонстративно присоединяло его к людям иных политических взглядов. Ведь он занимался не политикой, а научной работой, заведовал кафедрой иностранных языков, много публиковался и, казалось, не нарушал неизреченных правил игры, заданных государством...

Но именно государство в один день – 19 декабря 1980 года – превратило его жизнь в кафкианский кошмар. Накануне была арестована и его будущая жена. Они были осуждены по одной и той же статье (хотя их дела были искусственно разведены) и получили в 1981 году реальные сроки лишения свободы.

Если бы они обвинялись по политической статье, то история их была бы предметом не менее трагическим, однако чем-то обыденным для того времени, вписываясь в общую картину противостояния интеллигенции и власти. Однако никакого политического обвинения им предъявлено не было: Константин и Светлана Азадовские были осуждены и отбыли сроки по общеуголовной статье 224 УК РСФСР (хранение наркотиков).

Но случилось так, что через много лет после ареста они оба были признаны репрессированными по политическим мотивам. Это стало возможным благодаря беспримерной, совершенно бешеной по напору, изнурительной борьбе, которую долгие годы вел Азадовский ради восстановления честного имени своей семьи. Даже более – он, филолог-германист, самолично расследовал свое собственное «преступление» и «преступление» своей жены и в результате смог назвать истинных виновных.

Дело Азадовского оказалось на поверку политическим, хотя было сфабриковано как уголовное; и только тектонические сдвиги в стране и мире позволили нам увидеть глубинные процессы, происходившие в 1980 году в недрах органов госбезопасности.

Первопричиной разоблачения было то, что организаторы уголовного преследования Азадовских с самого начала действовали грубо и неосмотрительно, подобно слону в посудной лавке, что диктовалось, конечно же, чувством полной безнаказанности. Именно поэтому они оставили настолько много следов, расшифровывая самих себя, что Азадовский – отнюдь не сыщик – смог пройти по этим следам и не сбиться. Благодаря этому и он сам, и затем его жена были полностью оправданы и признаны репрессированными по политическим мотивам.

Было бы нечестно сказать, что Азадовский добился этого один. Ему помогали его друзья и коллеги. Их имена сегодня, по прошествии времени, говорят много даже тем людям, которые никогда не слышали о русском ученом по фамилии Азадовский. Не будет преувеличением сказать, что имена его защитников вписаны золотыми буквами в книгу русской культуры: Дмитрий Лихачев и братья Стругацкие, Натан Эйдельман и Анатолий Приставкин, Иосиф Бродский и Сергей Довлатов, Лев Копелев и Юрий Щекочихин...

Как же могло случиться, что пара обычных уголовников оказалась эпицентром такого общественного события, которое навсегда останется знаменательным для интеллектуальной истории советской эпохи периода распада? Ответ на этот вопрос мы постараемся дать в этой книге.

* * *

Автор этих строк не принадлежит ни к поколению шестидесятников, ни семидесятников, ни даже восьмидесятников... И все события, которые изложены в книге, – не плод воспоминаний свидетеля эпохи, но результат изучения тех конкретных источников, которые ему удалось собрать при написании этого документального исследования.

И хотя нас всегда интересовала история науки, специфика взаимоотношений советской науки и власти, трудная жизнь гуманитарной интеллигенции под гнетом рабоче-крестьянского государства, мы долгое время оставались в неведении, что же вообще такое «дело Азадовского», поскольку, занимаясь именно «историей», мы до определенного времени не воспринимали 1980-е годы ее частью. Да и герой этой книги оставался для нас всегда исключительно ученым-филологом, а одна из его работ – «Переписка Ю.Г. Оксмана и М.К. Азадовского» (1998) – послужила важнейшим источником для нашей книги «Идеология и филология» (2012).

Но однажды нам выпала редкая удача – ознакомиться с материалами личного архива И.С. Зильберштейна, которые его вдова и душеприказчик Н.Б. Волкова подготовила для передачи в РГАЛИ. Неделями мы искали в сотнях увесистых папок материалы по истории гуманитарной науки. Среди материалов, которые нам удалось найти, была и подборка документов, на обертке которой стояла надпись: «Дело Азадовского»; в ней было собрано несколько ксерокопий начала 1980-х годов: жалоба Азадовского из мест заключения, письмо его матери съезду КПСС, обращение ленинградских ученых к прокурору города... Копии эти попали к Илье Самойловичу в тот момент, когда редактор «Литературного наследия» еще надеялся повлиять на ход уголовного дела Азадовского. Именно в квартире Ильи Самойловича нам удалось в первый раз узнать о трагических событиях в судьбе героев этой книги.

У автора никогда не возникало мысли, что после обращения к биографии профессора М.К. Азадовского, жизнь которого была искалечена в 1949 году «борьбой с космополитизмом», придется под тем же углом зрения обращаться и к биографии его сына, с которым советская власть свела счеты практически на закате своей печальной истории.

С этого материала из архива И.С. Зильберштейна началась наша работа над темой, которая постепенно выросла в целую книгу. Привлекла же нас эта тема как своей неординарностью и многослойностью, так и богатством источников, которые позволяют восстановить истинную картину событий: исследовать не только внешнюю оболочку «Ленинградского дела 1980 года», но и установить, причем совершенно безошибочно, внутренние механизмы этого внешне банального, но невероятно насыщенного историческим содержанием события.

* * *

Жанр настоящей работы мы определили как документальное исследование. Он подразумевает строгую выверенность излагаемых фактов. По этой причине мы обязаны очертить круг источников, которые послужили твердым основанием для объективного исследования произошедшего. Он достаточно широк, хотя хронологическая близость описываемых событий и лимитировала наши возможности в части обращения к документам.

Нашлось и немало общедоступных источников, особенно по истории диссидентского движения. В отличие от самих Константина и Светланы Азадовских, которые долго не могли принять «политическую» версию, правозащитники прозорливо увидели за событиями декабря 1980 года идеологический подтекст и достаточно полно представили дело Азадовского в тех изданиях, которые были рупором диссидентского движения: от «Хроники текущих событий» до «Материалов Самиздата»; эти издания включают в себя достаточно большой набор сведений по делу Азадовского.

Главным же источником стали личные архивные фонды, отражающие как само дело, так и сопутствующие ему во времени события. Практически все эти материалы были скопированы нами у частных лиц; даже бумаги из архива И.С. Зильберштейна, которые ныне переданы в РГАЛИ и которым предстоит теперь длительная научная обработка, были нами скопированы еще до переезда благодаря любезности Н.Б. Волковой. Некоторые же документы получены из той части его архива, что сохраняется до сих пор в редакции «Литературного наследства». Единственным государственным архивохранилищем стал Отдел рукописей РНБ, где в фонде Д.Е. Максимова нашлась его переписка с Азадовским периода колымского лагеря.

Отдельно нужно сказать о той большой помощи, которая была оказана нам Е.М. Славинским, проживающим ныне в Лондоне. От него мы получили значительные объемы документов, совершенно неизвестных ранее: переписку со скандинавскими учеными относительно дела Азадовского, аналитические материалы радиостанции «Свобода/Свободная Европа» 1981–1982 годов, а также материалы процесса самого Славинского (1969) и многие другие бумаги.

Максимальным по объему комплексом документов, которые освещают дело Азадовского, располагает Архив Института изучения Восточной Европы Бременского университета (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen). Несколько сотен листов документов были переданы в этот архив самим Азадовским, и образовавшийся стараниями Г. Суперфина личный фонд ученого (1-255) оказался поистине незаменимым, исключительным источником для нашей работы.

Другой значительный корпус документов имеется в архиве общества «Мемориал» в Москве; с разрешения хранителя А.А. Макарова мы скопировали его для нашей работы полностью. Это прежде всего личный фонд Азадовского (включенный в ф. 155); он несколько меньше бременского, но исчисляется сотнями листов и содержит документы, которых нет в других собраниях. Представляют также интерес материалы Азадовского, которые входят в

фонд «Коллекция Кронида Любарского» (ф. 103), а также в собрание материалов самиздата, поступившее в свое время от В. Чалидзе (ф. 101).

Единичные документы были получены из частных собраний коллег и друзей героя этой книги, а также их наследников; особенно это касается эпистолярного материала, которым мы обязаны Сергею Дедюлину, Александру Лаврову, Габриэлю Суперфину и многим другим...

И, безусловно, мы имели возможность обращаться за справками и документами к Константину Марковичу и Светлане Ивановне Азадовским, особенно когда речь шла об использовании в работе архивных источников, имеющих личный, а не служебный характер. В противовес официальным бумагам – заявлениям, протоколам, приговорам, постановлениям, справкам, частичным копиям уголовных дел и т. д., которые отложились в перечисленных выше архивных коллекциях практически в максимальной полноте, личные документы Азадовских, особенно письма, до сих пор сохраняются в их личной собственности.

То обстоятельство, что Азадовские в свое время не поленились скопировать основной объем своих уголовных дел и сопутствующих «правосудию» материалов, которые впоследствии влились в различные архивные коллекции, оказалось для нас спасительным: несмотря на запросы, которые по нашей настоятельной просьбе предпринимались Азадовскими в процессе подготовки этой книги, их уголовные дела оказались то ли уничтоженными по срокам хранения, то ли вообще утраченными. Более того, в 2015 году Азадовскому наконец было официально сообщено, что сведения о привлечении его к уголовной ответственности отсутствуют в Информационном центре ГУ МВД России по С. – Петербургу и Ленинградской области, самих уголовных дел на хранении не имеется, а вся учетная документация уничтожена по истечении срока хранения. Как будто и не было никакого уголовного дела, отбытого срока, реабилитации, сломанных жизней...

В связи с этим следует сделать небольшое отступление относительно доступности материалов по российской истории XX века, особенно второй его половины.

Владение архивной эвристикой, помогавшее нам при разработке вопросов истории XVIII – середины XX века, для написания данной книги оказалось совершенно бесполезным. Можно констатировать, что государственные и ведомственные архивохранилища наглухо закрыты для исследователя, желающего заняться темой преследования интеллигенции со стороны органов государственной безопасности в 1970–1980-е годы. Ну и особенно – если речь идет о Ленинграде.

Оперативные дела КГБ, хранившиеся в архиве Большого дома, были уничтожены в 1989–1991-м. То, что чудом не было уничтожено, вряд ли будет доступно исследователям в ближайшие десятилетия. Внутренние документы КГБ по делу Азадовского, отложившиеся в материалах архива Инспекторского управления КГБ СССР и Управления КГБ по Ленинградской области, опять же полностью закрыты для историков, поскольку «отражают оперативную работу органов госбезопасности». Какая уж тут эвристика...

Справедливости ради скажем, что единичные исследователи (в основном члены и эксперты комиссий Верховного Совета СССР и РСФСР) смогли в начале 1990-х прикоснуться к подобным «оперативным» материалам. Однако тогда историков в большей степени интересовали материалы Большого террора, нежели события новейшего времени.

Причина, по которой архивные дела КГБ СССР 1980-х годов в абсолютном своем большинстве недоступны независимым исследователям (читай: историкам, которые никак не связаны со спецслужбами или официальными структурами), представляются следующими: во-первых, временно не действовавшие (с 1992 года) грифы секретности на документах КГБ СССР в 1995 году вновь обрели силу, то есть для выдачи их исследователям предусмотрена необходимость соблюдения 30-летнего срока (хотя и по истечении этого срока абсолютное большинство дел продолжает находиться на секретном хранении). Во-вторых (видимо, для того, чтобы не было лишних разговоров), 12 марта 2014 года Межведомственная комиссия по

защите государственной тайны принимает решение «О продлении сроков засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, засекреченных ВЧК – КГБ СССР в 1917–1991 годах», продлевая еще на тридцать лет срок секретности сведений, охват которых поистине огромен (23 категории), и критерии эти «подходят» практически для всех материалов КГБ СССР. Таким образом, материалы ведомственных архивов КГБ за 1980-е годы будут недоступны еще около тридцати лет – как минимум до весны 2044 года.

Тем не менее за последнюю четверть века значительная часть документов оказалась опубликованной и в сериальных документальных изданиях, и в периодике, в статьях и монографиях. Другой вопрос, что бушующая волна публикаций документов, связанных с работой спецслужб, заметно пошла на убыль, и ныне мы переживаем своего рода «отлив», поскольку доступ к неопубликованным и ранее секретным материалам ужесточился немислимым образом. Вероятно, многим известны громкие тяжбы, которые историки вели и ведут за доступ к материалам XX века: Георгий Рамазашвили выясняет отношения с архивом Министерства обороны, Михаил Золотоносов – с бывшим Ленинградским партархивом, Никита Петров оспаривает систему навязанной государством секретности в целом...

Банальности о мифических секретах вкупе со страхом работников архивов лишиться работы из-за неосторожной выдачи того или иного документа действуют безотказно, и в этом – основная причина закрытости архивов, хотя нормальная деловая атмосфера легко могла бы поддерживаться строгим соблюдением 30-летнего срока секретности с обязательной последующей передачей архивных дел на государственное хранение. Но получилось не так. Система тотального засекречивания ужесточается, хотя именно эти перегибы приводят, с одной стороны, к таким прецедентам, как «Архив В.Н. Митрохина» (перебежчика, чьи выписки из архивных дел Первого главного управления КГБ, ныне хранящиеся в Кембридже и доступные в Интернете, оказываются наиболее ценным источником по истории советской разведки), а с другой стороны, к уменьшению численности российских историков-архивистов, изучающих политическую историю второй половины XX века. Ведь альтернатив закрытым документам госбезопасности и партийных органов крайне мало.

Тем не менее для законопослушного историка сохраняется несколько путей их поиска и выявления.

Во-первых, использование копий следственных дел, сделанных ранее, когда система доступа к документам не была столь тягостной. Порой копирование производилось самими жертвами политических репрессий, которые имели доступ к своим следственным и судебным делам, а частью – их родственниками или уполномоченными лицами. Это тем более важно, поскольку сегодня невозможно вообразить ситуацию, когда даже родственникам выдают следственное дело политзаключенного и показывают при этом не только протокол задержания или допроса, но и абсолютно все листы дела, включая доносы и прочие «свидетельства» современников. Случалось, что ученый, заказав следственное дело вторично, по прошествии десяти – пятнадцати лет находил его не просто «похудевшим», а совершенно истощенным.

Во-вторых, в 1991 году, когда закончил свое существование Советский Союз, некоторые его бывшие территории оказались заметно либеральнее в своем отношении к архивам КГБ и ЦК, нежели Россия. А поскольку значительная часть документов, особенно циркуляров Центра, носила всеобщий характер, в настоящее время возможно по экземплярам республиканских и территориальных управлений частично восполнить пробелы в источниках, особенно если речь идет о секретных инструктивных материалах КГБ СССР. Основным источником «утечки» таких документов в 1990-х годах стали страны Балтии; в первую очередь здесь нужно отметить Особый архив Литовской Республики. Одно время казалось, что этим и ограничится, но недавние события на Украине коснулись и архивного дела. 9 апреля 2015 года в Киеве был принят закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов». Этот акт объявляет все без исключения материалы КГБ Украинской

СССР доступными для историков, а значит, и российские исследователи смогут обращаться к тем материалам, аналоги которых в архивах России остаются недоступными.

В-третьих, среди историков и журналистов, получивших в начале 1990-х годов доступ к документам КГБ СССР, МИД СССР и ЦК КПСС, были и те, кто имел возможность заказывать многочисленные копии; впоследствии эти массивы не были отправлены в контейнер, а сохранились в составе частных архивов, предназначенных для научной работы. Порой такие комплексы становятся единственным источником, потому что оригиналы так и не были открыты. Можно вспомнить, например, архив Д.А. Волкогонова, который насчитывал более десяти тысяч документов по советской истории, скопированных в Центральном оперативном архиве КГБ СССР, в Архиве Иностранного отдела ОГПУ – НКВД, в Архиве Политбюро ЦК КПСС и других хранилищах; большинство этих материалов имело в СССР высшую степень секретности, многие из них не рассекречены до сего дня. И когда в 1995 году Д.А. Волкогонов скончался, весь этот гигантский архив был передан его дочерью... в Библиотеку Конгресса (Вашингтон). Если не обсуждать моральную сторону вопроса (русская пресса это назвала «непатриотичным поступком»), можно констатировать следующее: оригиналы этих документов ныне за семью печатями, зато копии в Библиотеке Конгресса доступны ученым из любых стран, в том числе из России.

Таким образом, само извлечение документов по истории второй половины XX века из-под многочисленных запретов – крайне трудоемкое и неблагодарное занятие. И то обстоятельство, что нам не пришлось тратить на него свои силы, серьезным образом сократило срок подбора архивных источников. Наиболее важные документы по делу Азадовского, которые происходят из недр КГБ СССР, имеют свою особую генеалогию.

Речь идет об итоговых материалах ведомственных проверок 1988 года (Следственного отдела и Инспекторского управления КГБ СССР, а также УКГБ по Ленинградской области), которые имели решающее значение для переосмысления дел Азадовского и его жены. Оригиналы этих бумаг, и не только они, несомненно хранятся в архивах спецслужб. Но, как мы сказали, пытаться получить к ним доступ в настоящее время – заведомо тупиковый путь для независимого исследователя. К счастью для исторической науки, в 1993 году итоговые докладные записки и некоторые другие документы из этого корпуса материалов были скопированы для двух инстанций – Генеральной прокуратуры и Комиссии Верховного Совета по реабилитации жертв политических репрессий. Но дела Комиссии, как и дела Генпрокуратуры за 1990-е годы, опять-таки недоступны для исследователей. Тем не менее с экземпляра Генпрокуратуры были сделаны копии, необходимые для проведения прокурорской проверки в Ленинграде в 1994 году, а по окончании этой проверки вместе с ее результатами эти копии были подшиты к уголовному делу, которое не имело грифа «секретно» (будучи обычным уголовным делом по обвинению в хранении наркотиков). В том же 1994 году Светлана Азадовская получила в архиве Куйбышевского районного суда доступ к своему уголовному делу и в течение недели переписывала приложенные к делу материалы. Вскоре значительная их часть была обнародована Юрием Щекочихиным в «Литературной газете».

От Азадовских эти копии поступили как минимум в два хранилища. Наиболее полный экземпляр был передан в фонд Азадовского в Архиве Института изучения Восточной Европы Бременского университета. Второй, также доступный исследователям экземпляр, хотя и несколько меньший по числу представленных в нем документов, хранится в личном фонде Азадовского в архиве общества «Мемориал» в Москве.

Таким образом, мы практически не использовали материалов из государственных архивов. Это позволило нам не отягощать нашу книгу ссылками, заменив их хронологическим перечнем использованных документов, расположенным в конце книги. Тем более что зачастую один и тот же документ, обычно в копии, имеется в нескольких архивных коллекциях, а сами эти архивные собрания (будь то в Бремене или московском «Мемориале») не имеют привыч-

ной для российских госархивов нумерации листов, так что мы были даже не в состоянии дать при цитировании полные архивные ссылки. Материалы архива И.С. Зильберштейна (РГАЛИ. Ф. 3290) также не прошли еще научной обработки. Кроме того, как упомянуто выше, значительная доля материала до сих пор сохраняется в частных архивах. Этот принцип касается и печатных источников – как различных западноевропейских газет, так и мемуаров или иных материалов (их полный алфавитный перечень приводится в конце книги).

Также отметим, что даты жизни нами указаны только при упоминании ныне ушедших персонажей книги.

* * *

Выражаем искреннюю благодарность лицам, не отказавшимся помочь нам как советом, так и материалами. Это Надежда Ажгихина, Анатолий Белкин, Яков Гордин, Сергей Дедюлин, Поэль Карп, Юрий Клейнер, Александр Лавров, Любовь Овэс, Татьяна Павлова, Ефим Славинский, Габриэль Суперфин...

Благодарим Арсения Рогинского, взявшего на себя труд внимательно прочесть рукопись и высказавшего ряд важных замечаний, а также Александра Соболева, чья многолетняя дружеская поддержка немало способствовала созданию и этой книги.

Нельзя не отметить того исключительно доброго отношения, которое автор встретил у главных героев – Константина и Светланы Азадовских. Они не только щедро делились сохранившимися у них материалами, но и терпеливо и откровенно отвечали на порой непростые вопросы, которые возникали у автора в процессе работы. Следует также оговорить то обстоятельство, что в силу хронологической близости описываемых в книге событий мы вынуждены были получить необходимые разрешения на публикацию ряда текстов: стихотворений, переводов, газетных статей, личных писем, а также иллюстраций. Авторы или их наследники сочувственно отнеслись к нашей просьбе, за что мы должны выразить им свою искреннюю признательность.

Наконец, хочется поблагодарить издателя Ирину Прохорову, которая с самого начала горячо поддержала наш замысел, терпеливо дожидалась окончания работы над рукописью и затем сделала все возможное, чтобы эта книга увидела свет.

Глава 1

Начало

Герой этой книги родился 14 сентября 1941 года в Ленинграде, на седьмой день взятия города в кольцо блокады. Отцом долгожданного первенца был университетский профессор-филолог Марк Константинович Азадовский (1888–1954), матерью – Лидия Владимировна Брун (1904–1984), в 1924–1938 годах – сотрудница Государственной публичной библиотеки в Ленинграде.

В марте 1942 года, пережив тяжелейшую блокадную зиму, но сохранив младенца, семья была эвакуирована в Иркутск, на родину отца. Здесь их ждал университет, где Марк Константинович занимал профессорское место до конца войны. 1945 год, принесший победу, оказался особенно труден – напряжение военных лет дало себя знать: отец перенес тяжелый инфаркт. Возвращение в Ленинград было символическим – казалось, что начинается новая жизнь.

Эйфория длилась недолго – в августе 1946 года разразилась новая война, на этот раз идеологическая. Первыми жертвами стали Ахматова и Зощенко, но зона поражения разрассталась: началась борьба с «аполитичностью» советской интеллигенции. Ровно через год она переросла в кампанию против «пресмыкательства перед границей», в которой среди прочих пострадали филологи, осмелившиеся проводить параллели между русской литературой и европейской классикой; усилилось восхваление всего русского и поношение всего иностранного, а размах гонений на отдельных ученых и даже целые научные школы недвусмысленно воскрешал в памяти мрачные тридцатые годы.

В 1948 и особенно в 1949 году семье Азадовских стало понятно, что надежды на мирную и благополучную жизнь рухнули: разгром «космополитов от литературоведения» все более набирал силу. Отец Кости, который долгие годы изучал русский фольклор и не без оснований надеялся, что эти баталии обойдут его стороной, оказался в группе тех самых «космополитов». Причем профессор Азадовский был не просто «примкнувшим» – он был избран в качестве одного из главных выразителей ущербной идеологии.

Оказалось, что в числе его более чем трехсот печатных работ нашлась и такая, в которой еще в 1936 году он осмелился утверждать, что Пушкин использовал сюжеты сказок братьев Гримм для написания «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». В 1930-е годы это наблюдение казалось современникам важным открытием, но в 1949-м воспринималось как преступление. Ученого непечатно склоняли на партсобраниях, «прорабатывали» в печати, шельмовали и называли «клеветником на русскую культуру и великого Пушкина»; всякие исследования в области сравнительного литературоведения, главным представителем которого в русской науке был академик А.Н. Веселовский, беспощадно карались «большевистской критикой».

Впрочем, сейчас мы знаем, что претензии к каждому из «космополитов» были бы найдены в любом случае. Их научные работы сами по себе не имели решающего значения. Кампания 1949 года была насквозь антисемитской: под любыми предлогами громили ученых-евреев, и приговором Азадовскому было его имя, данное ему при рождении в еврейской семье: Марк. Азадовский-отец воспринимал всю эту критику болезненно и в первую очередь – через призму своей научной деятельности; ему, как и другим жертвам ожесточенной травли (Г.А. Гуковскому, В.М. Жирмунскому, Б.М. Эйхенбауму), казалось, что жизнь прожита зря...

В конце концов весной 1949 года его сердце не выдержало; врачи диагностировали второй тяжелый инфаркт, длительное время продержавший его в постели. В мае, когда стало ясно, что он все-таки пошел на поправку, «космополита» Азадовского выгнали с работы – и из Ленинградского университета, где он заведовал кафедрой русского фольклора (им же в свое

время и созданной), и из Пушкинского Дома, где он возглавлял Сектор фольклора. В своем специальном приказе Министерство высшего образования СССР указало причину увольнения: «Крупные идеологические ошибки в научно-педагогической работе».

Вышедший в конце того же 1949 года первый том Большой советской энциклопедии с биографической статьей об Азадовском-отце заканчивался многозначительной фразой о том, что в его научных трудах «сказалось влияние порочного историко-сравнительного метода академика А.Н. Веселовского с его идеализмом и реакционным космополитизмом». Это был волчий билет или, как он сам сказал после прочтения, «осиновый кол».

Следующие годы были для семьи Азадовских очень нелегкими: разница между зарплатой университетского профессора в 6500 рублей и пенсией в 1600 казалась почти фатальной; гонорары прекратились, пришлось расстаться с частью библиотеки, которая любовно собиралась многие годы и уцелела даже в блокаду. Заниматься фольклором отец почти не мог – ни формально, поскольку критике в 1949 году были подвергнуты прежде всего его труды по народному творчеству; ни физически – он много болел, а в 1953 году перенес еще один инфаркт, третий. Впрочем, именно в эти годы им были написаны работы, вошедшие в золотой фонд отечественного декабристоведения. Умер Марк Константинович в ноябре 1954 года.

Гражданская панихида в Доме писателя была весьма многолюдной; речи произносились и на кладбище. А накануне похорон произошло событие, которое запомнилось многим современникам. В квартиру, где стоял гроб, был доставлен венок, на ленте которого красовалось выведенное бронзовой краской: «От Пушкинского Дома Академии Наук СССР». Увидев надпись, Лидия Владимировна попросила домработницу взять такси и отвезти венок «по адресу отправителя» – в Пушкинский Дом, где он был оставлен в вестибюле, у главного входа. Настолько памятен был ей 1949 год...

Итак, в 13 лет Костя остается без отца. Понимал ли он, что с этого момента он – глава семьи? Вероятно, понимал или понял довольно быстро. Теперь он должен был учиться, чтобы стать похожим на отца.

По счастью, он оказался на редкость способным ребенком. Само собою вышло, что мать – немка по отцу – с детства говорила с ним на родном языке своих предков, переселившихся в Россию еще в XVIII веке. Немецкий язык Лидии Владимировны был слегка архаичным – таким, как у большинства петербургских немцев. Так и протекало Костино знакомство с классической немецкой литературой, интерес к которой изрядно подогревался усилиями родителей и друзей семьи.

Собственно говоря, Костя не имел выбора – вся атмосфера вокруг него была прямо-таки насыщена немецким языком и немецкой литературой. К ближайшим друзьям принадлежали Тронские, прославленная чета университетских профессоров, а Мария Лазаревна, германистка, преподававшая на филологическом факультете ЛГУ, была ученицей В.М. Жирмунского, еще одного друга семьи Азадовских.

Важное событие, знаменовавшее, по-видимому, «переход количества в качество», произошло в середине 1950-х годов. Вернувшийся из лагерей Ахилл Григорьевич Левинтон, ленинградский германист и филолог-западник, который не мог устроиться на преподавательское место в вузе, согласился позаниматься с Костей языком и литературой и, видя в подростке благодатную почву, стал вкладывать в него свои знания; именно он открыл ему мир Гете, Гейне и Гофмана.

И надо сказать, что подростка все более увлекал этот волшебный мир немецкой литературы. Ощущение того, что он может сам, не прибегая к чьей-либо помощи, читать на языке оригинала немецкие стихотворения или романы, создавало вокруг его домашних занятий, как и ранее в детстве, ореол таинственности, столь необходимый в этом возрасте для горячего интереса к тому или иному предмету.

Когда пришло время задуматься о выборе школы, родители остановились на 232-й мужской средней школе Октябрьского района (на улице Плеханова, бывшей и нынешней Казанской). За этим официальным фасадом скрывалось старейшее учебное заведение города – некогда Вторая петербургская гимназия. Для Азадовского-старшего, хорошо помнившего дореволюционный Петербург, это был, как говорится, «знак качества»; к тому же было известно, что в 232-й школе традиционно высоко поставлено изучение иностранных языков. И действительно, когда Костя перешел в четвертый класс, то в 232-й, как, впрочем, и в нескольких других ленинградских школах, был директивно в качестве основного иностранного языка введен испанский. То есть уже ко времени поступления на филологический факультет Ленинградского университета – а других вариантов у него даже в мыслях не было – Костя неплохо знал два иностранных языка. Впоследствии к ним прибавится, хотя и не на таком высоком уровне, знание английского и французского.

Поступив в 1958 году на немецкое отделение филологического факультета Ленинградского университета, Костя просто не имел права учиться посредственно – ведь он был не простым студентом, а сыном своего отца, которого многие сотрудники факультета хорошо помнили. Да и зловещие события конца 1940-х тогда еще тоже не были забыты, и Константин понимал, что означают внимательные взгляды, которыми провожают его подчас знакомые и незнакомые преподаватели. Среди профессоров, которых слышал и у которых учился Константин Маркович, особое значение для его дальнейшей судьбы имел Дмитрий Евгеньевич Максимова, едва ли не единственный в то время профессор, пытавшийся привлечь внимание студентов к культуре Серебряного века, руководитель знаменитого Блоковского семинара.

В 1963 году Азадовский с отличием оканчивает филологический факультет, защитив дипломную работу об австрийском драматурге Франце Грильпарцере, классике австрийской литературы, и влиянии на него испанского театра Золотого века, написанную под руководством известного испаниста Захария Исааковича Плавскина. На последнем курсе он сближается с Аристидом Ивановичем Доватуром и, ощущая нехватку классического образования, просит его о разрешении посещать студенческую группу, изучавшую древнегреческий язык. Эти занятия продолжались и после того, как Азадовский расстался с филфаком.

Тяга к стихосложению, проявившая себя еще в школьные годы, способствовала тому, что Константин, еще будучи студентом, знакомится с молодыми ленинградскими поэтами; среди них были, в частности, Дмитрий Бобышев и Иосиф Бродский. Позднее, через несколько лет, он сблизится с Виктором Кривулиным, Олегом Охупкиным и другими поэтами неформальной ленинградской культуры.

Во второй половине 1960-х годов через своего университетского приятеля Гену Шмакова он попадает в круг артистов ленинградского балета. Особенно часто он встречается с Машей (Марианной) Кузнецовой, танцовщицей кордебалета Кировского театра, умной, обаятельной и, что необычно для артистов балета, трезво оценивающей советскую действительность. Ее комнатка в общежитии театра на улице Зодчего Росси была своего рода центром притяжения: туда под вечер стекались гости, среди них – Геннадий Шмаков, Михаил Барышников... В один из вечеров Азадовский привел в этот райский уголок Бродского...

Можно видеть, что, погружаясь в пучину богемно-артистической и поэтической жизни города, Азадовский в какой-то степени и сам становился частью этой «второй культуры». Что было вполне естественно для молодого человека, пытавшегося писать стихи, увлекавшегося изобразительным искусством и много читавшего (да еще и на иностранных языках).

О серьезности поэтических опытов Азадовского того времени свидетельствует любопытный факт: в 1993 году в первом томе Собрания сочинений Иосифа Бродского было помещено несколько стихотворений Азадовского.

Однако основным направлением литературных занятий Азадовского в тот период становится не оригинальное стихотворчество, а поэтический перевод (как прозы, так и стихов). Уже

в студенческие годы публикуются его переводы с немецкого и испанского, но большую известность в Ленинграде принесли ему переводы произведений Рильке, чьим творчеством он уже тогда увлекался. Так, выполненный им перевод «Песни о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» ходил в списках, распространялся в самиздате.

Константин Кузьминский, уехав в Америку, писал в 1983 году: «“Песнь о любви и смерти корнета Мария Рильке” в переводе Кости Азадовского тщетно ищу уже 17 лет... И до, и после читал я немало Рильке – и в переводах [Т.И.] Сильман, слышал переводы [С.В.] Петрова – но сразил меня один Азадовский».

Неудивительно, что Иосиф Бродский, любивший наделять своих друзей кличками, некоторое время звал Костю Корнетом.

Переводить он начал еще в школьные годы. Будучи старшеклассником, пришел в семинар Е.Г. Эткинда, где обсуждались переводы немецкой прозы; знакомство, а позднее и дружба с этим замечательным переводчиком, ученым и публицистом сохранялась до конца жизни Ефима Григорьевича.

В студенческие годы он постоянно посещал переводческие семинары в Ленинградском Доме писателя. Секция переводчиков Ленинградского отделения Союза писателей была в то время редкостным и совершенно особым явлением – талантливые гуманитарии, многие из которых имели за плечами лагерный срок (Т.Г. Гнедич, И.А. Лихачев, А.А. Энгельке и др.), вернувшись в годы оттепели в родной город, задавали тон в Ленинградском отделении Союза писателей. Это созвездие талантов назовут впоследствии «ленинградской школой художественного перевода». Стараясь не пропускать переводческие вечера в Доме писателя, Константин вскоре примкнул к семинару, которым руководила Эльга Львовна Линецкая (в прошлом – ссыльная); молодые люди, объединившиеся в этом семинаре, переводили французских поэтов и, встречаясь, обсуждали свои стихотворные опыты. В этот семинар он привел однажды Геннадия Шмакова, полиглота и знатока французской литературы.

Впоследствии, когда познания Азадовского в истории литературы углубились, Константин Маркович отдалился и от переводов, и от стихов, занявшись историко-литературными разысканиями в области русской поэзии и русско-немецких литературных связей.

Однако уже в студенческие годы ему пришлось решать и другую – отнюдь не филологическую – проблему. Не имея никаких доходов, кроме студенческой стипендии, Константин постоянно чувствовал необходимость содержать и себя, и мать, чьей мизерной пенсии явно не хватало для обоих, не говоря уже о развлечениях, столь соблазнительных в молодом возрасте, или таких удовольствиях, как путешествия (в те годы, естественно, исключительно по родной стране).

И когда весной 1960 года, после окончания второго курса, ему предложили на время летних каникул поработать переводчиком с иностранными туристами, он воспринял это предложение как большую удачу. Перед ним открывалась возможность «посмотреть мир», общаясь с приезжавшими в Ленинград туристами, в том числе «из капстран». Никакой зарплаты там официально не предполагалось, зато можно было – и это в особенности привлекало Константина – прикоснуться уже к современному разговорному, а не старомодно-литературному немецкому языку.

Окончив филологический факультет со специальностью «филолог-германист», Константин не поступает в аспирантуру Ленинградского университета (в сущности, ему этого и не предлагали), а после продолжительных мытарств, связанных с так называемым «распределением», не без труда устраивается преподавателем-почасовиком на кафедру иностранных языков Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена.

А вскоре, в феврале 1964 года, он был призван на трехмесячные офицерские сборы во Львове; по этой причине он смог посетить только первое заседание суда над Бродским 18 фев-

раля 1964 года (к 13 марта он был уже в погонах); зато в декабре ему удалось вырваться на три дня в Норенскую, куда был сослан его друг-туняец.

Словно в отместку родному филфаку, Азадовский через год после его окончания поступает на вечернее отделение исторического факультета – на отделение истории искусств. В центре его внимания оказывается живопись немецкого романтизма, прежде всего Каспар Давид Фридрих, и в 1969 году он защищает диплом на тему «Проблема пейзажа в живописи немецкого романтизма» и становится дипломированным искусствоведом.

Не прекращая преподавания иностранных языков в вузе, он в 1965 году поступает в заочную, а затем, два года спустя, сдав кандидатский минимум, переходит в очную аспирантуру ЛГПИ имени А.И. Герцена и начинает работать над диссертационным сочинением на кафедре зарубежной литературы под руководством одного из крупнейших отечественных германистов Наума Яковлевича Берковского. В своей диссертации он продолжает изучение драматургии Франца Грильпарцера. К осени 1969 года работа была полностью готова; началась подготовка к защите, обсуждался вопрос об оппонентах, готовились необходимые отзывы. Ученый совет должен был назначить дату, чтобы можно было отпечатать автореферат.

Но далее произошло событие, которое если и не перечеркнуло его карьеру, то серьезным образом ее затормозило. Об этом довольно красочно пишет коллега по кафедре зарубежной литературы пединститута Ален Михайлович Жмаев (1934–1987), вскоре исключенный из партии за чтение самиздата и уехавший с «волчьей характеристикой» преподавать – сперва в Харьков, а затем в Ош. В своем дневнике он заменил реальное имя нашего героя именем его отца. Приводим этот текст по публикации в самиздате 1972 года:

Напевая, подходил я к институту, когда меня остановила Анна Сергеевна [Ромм – профессор ЛГПИ, специалист по английской литературе нового времени].

О, это выражение лица, сразу как будто осевшего всеми мягостями!

– Вы слышали?

– Что? – спросил я, не ожидая ничего хорошего.

– Марк, – выдохнула она едва слышно.

Марк был красой и гордостью нашей кафедры. Такого аспиранта кафедра не знала и в минуты своего расцвета. Он написал диссертацию, которую не поленился прочесть сам Берковский. Переводы Марка с трех языков выходили в красивых изданиях, и он неизменно дарил их Львовичу [Алексею Львовичу Григорьеву, профессору и завкафедрой]. Слушая, как Марк излагает отвлеченную проблему, наши старички млели, а Анна Сергеевна, наверное, думала, почему ее дочь получилась настолько неудачной, что нет ни малейшей надежды залучить блестящего молодого человека в родню. Наум Яковлевич [Берковский], никогда никого не хваливший и не терпевший, чтобы других хвалили в его присутствии, сказал, послушав Марка:

– Юноша изрядной начитанности. Даже можно сказать: образованный молодой человек.

В довершение у Марка была прекрасная родословная: он происходил из семьи потомственных филологов, хорошо известных в Ленинграде...

– Что Марк, – спросил я одними губами. – Политика?

Анна Сергеевна кивнула. Добавила едва слышно:

– И еще хуже... Наркотики.

При аресте группы наркоманов Марка привлекли к суду в качестве свидетеля. Он был полностью оправдан... Но надежда, которую питали все, надежда, что он будет работать на нашей кафедре, была навсегда похоронена.

Содержание событий, как оно преломилось тогда в интеллигентской среде Ленинграда, передано тут вполне верно. То было знаменитое «дело Славинского», по нему-то и был привлечен Азадовский-младший. Дело, как водится, началось с обысков (у Азадовского и многих его знакомых); затем стали вызывать на допросы. Суть состояла в том, что Ефим Славинский, талантливый филолог-англист, действительно в течение 1966–1968 года «покуривал» как сам, так и с друзьями (причем не только с интеллигентами города Ленина, но и, что было уже совсем неосмотрительно, с приезжими иностранцами). Неудивительно, что место неформального общения будет квалифицировано следствием как притон, а многочисленные гости Славинского будут объявлены наркоманами. «Обвинение, предъявленное Славинскому, – как напишет позже критик и переводчик Виктор Топоров, тогда принадлежавший к этому кругу, – было хотя и верным фактически, но притянутым за уши: судили – и осудили – его не за наркотики и уж подавно не за политику, а за обширные знакомства с иностранцами и за общий стиль жизни». И хотя жанр «воспоминаний» Топорова правильнее в целом определить как пасквиль на современников, в данном случае он как лицо безразличное к Славинскому раскрывает истинную причину дела.

То обстоятельство, что Азадовский тогда даже не курил, было общеизвестным фактом, и привлечь его за употребление наркотиков следствие не смогло. Продолжим цитировать дневник Жмаева:

Суть его дела была элементарна. В Ленинграде, действительно, разоблачили группу наркоманов. Один из них, называя всех своих знакомых, назвал и Марка. Имя нашего аспиранта попало в «Вечерку» как раз в те дни, когда на кафедре раздавались дифирамбы в честь его блестяще завершенной диссертации. Газету никто в институте не видел, и чудом удалось нашему диссертанту получить рекомендацию к защите перед прологом всех событий. Накануне крохотной информации в «Вечернем Ленинграде» в квартире Марка внезапно произвели обыск. Изъяли все лекарства, шприц, которым делали уколы больной матери, все иностранные журналы, все адресные и записные книжки. Если на обороте конспекта написано было имя, допустим, «Лена», то изымали и конспект. Таким образом набралось около 200 наименований. Конечно, никакими наркотиками дома и не пахло. Но зато журналы, те самые, которые Львович [А.Л. Григорьев] рекомендовал читать и мне, сочли «полуантисоветскими»...

Отметим, что слова относительно оглашения имени Марка в газете – попросту ошибочны, поскольку и статьи-то никакой не было. 5 июня на последней полосе «Вечернего Ленинграда» в рубрике «Происшествия» появилась заметка под громким заголовком «Расплата неминуема»:

На днях сотрудниками Управления внутренних дел Леноблгорисполкомов задержан Е.М. Славинский – человек без определенных занятий, на квартире которого собирались молодые люди для употребления наркотиков. Следственным управлением УВД Леноблгорисполкомов Е.М. Славинский привлечен к уголовной ответственности. Ведется расследование.

Заголовок и содержание заметки не оставляли никаких сомнений относительно перспектив этого уголовного дела, и огласка в интеллигентской среде Ленинграда была широка. Результатом работы органов внутренних дел оказалось и «Представление», направленное ректору ЛГПИ А.Д. Боборыкину из Следственного управления Ленинграда 12 августа 1969 года. Приведем фрагмент этого документа:

В процессе расследования было установлено, что среди посетителей притонов Славинского был аспирант кафедры зарубежной литературы Азадовский Константин Маркович. Азадовский неоднократно посещал притоны Славинского, которые он содержал, снимая комнаты у частных лиц, курил там наркотическое вещество – гашиш. Причем Азадовский приводил в притоны Славинского лиц, которые не являлись наркоманами с тем, чтобы приучить их к употреблению наркотиков. Так, в 1968 году он привел к Славинскому гражданина США Л. Лейтона, которому Славинский дал курить гашиш. В 1967 г. Азадовский привел к Славинскому актера театра им. Моссовета Демина В.И. и вместе со Славинским склонил его к употреблению наркотиков, дав ему закурить папиросу с гашишом. На обыске у Азадовского был изъят порошок белого цвета, который Азадовский получил под видом наркотика у гр-на США Филлипса в 1969 году. Кроме того у Азадовского были изъяты порнографические американские журналы и книги антисоветского содержания.

На следствии Азадовский вел себя трусливо, отрицая очевидные факты, боясь ответственности. К уголовной ответственности Азадовский не привлекается. Однако поведение Азадовского, который хранил дома порнографическую и антисоветскую литературу, а также посещал притоны для употребления наркотиков и курил там гашиш, несовместимо с его будущей профессиональной деятельностью. Азадовский не может быть воспитателем молодежи, ведя сам аморальный образ жизни. Сообщая об изложенном, прошу обсудить поведение Азадовского и принять к нему меры общественного воздействия. О принятых мерах прошу сообщить в месячный срок.

Ректор с содроганием прочитал этот документ и в том же августе 1969 года сообщил в Следственное управление о том, что больше такого аспиранта в ЛГПИ имени Герцена не числится.

Нужно отдать должное ректору – Александру Дмитриевичу Боборыкину (1916–1988), который обошелся с Азадовским все же довольно гуманно. Правда, в защиту аспиранта подали свои голоса и профессор ЛГПИ Б.Ф. Егоров, и другие преподаватели пединститута, и даже директор Пушкинского Дома В.Г. Базанов, однако ректор мог не посчитаться с их мнением и отчислить Азадовского с такой характеристикой, с которой тот не смог бы устроиться не то что в вузе, но даже в сельской библиотеке. Однако ректор, в особенности ценивший Н.Я. Берковского, прислушался к мнению профессора и поступил максимально мягко, а впоследствии, спустя два года, когда дело утихло, даже санкционировал защиту Азадовского в ЛГПИ.

Нельзя умолчать о том, что подлинные материалы судебного процесса по делу Ефима Славинского полностью опровергают положения милицейского «документа», ибо свидетели на суде показали, что гражданин «Азадовский не употреблял наркотики, хотя ему многократно и настойчиво это предлагалось, поскольку относится к наркотикам отрицательно и вообще никогда не курил даже папирос». А «белый порошок», обнаруженный у него в ходе обыска, в действительности оказался всего лишь аспирином, но, будучи импортным, был изъят при обыске для проведения экспертизы.

Вообще обыск 1 июня 1964 года, начавшийся в 6:30 утра, проводился с размахом – оперативные группы работали одновременно по многим адресам, явившись почти ко всем знакомым Славинского. Впечатляет и количество изъятого – у Азадовского, например, вынесли практически весь письменный стол. Кроме записных книжек, переписки с иностранными гражданами, рецептов и лекарств, любых листочков с телефонами, списков членов переводческих семинаров и проч. были изъяты многочисленные иностранные журналы – от «Spiegel» и «New

Yorker» до «Esquire» и «Playboy», все «долгоиграющие пластинки иностранного производства», а также изданные за границей собрания сочинений Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой и даже вырезки из «Русской мысли». Особый интерес привлекло напечатанное на пишущей машинке стихотворение, начинавшееся со слов «Когда в Неву входили крейсера...». Оно так и не вернулось к Константину, и никто не установил его автора; и даже непонятно, зачем его изъяли. Это было стихотворение его друга, молодого поэта и историка Якова Гордина.

Когда в Неву входили крейсера
В осеннем дыме, в утреннем ненастье,
Я тут же понял, что пришла пора
Подумать о бесславии и счастье.
Пред ними подымались мосты,
Ни зверю нет пути, ни человеку,
И понял я, что время пустоты

Таким, как я, устроило проверку...

Однако вернемся к присланному в институт документу. Для советской правоприменительной практики вполне показательно то обстоятельство, что милицееское «представление» было отправлено Следственным управлением задолго до суда над Е.М. Славинским, который состоится 24–29 сентября 1969 года. То есть еще до того, как суд рассмотрел это уголовное дело и дал оценку собранным следствием материалам, «вина» Азадовского считалась уже доказанной: понятие «презумпция невиновности» для отечественного права всегда было некой фантастической картинкой западного кинематографа.

Серьезное давление, которое оказывало на Азадовского следствие, не привело к ожидаемому результату – ни на следствии, ни на суде он не дал против Славинского никаких показаний. Но сама обстановка – обыски и допросы – оказала известное влияние на Азадовского, укрепила его личность, дала реальную возможность не только преодолеть это испытание нравственно, но и окончательно прозреть. Об этом свидетельствует запись в том же дневнике А.М. Жмаева:

– Поскольку я не виноват, – рассказывал Марк, – то и оправдаться невозможно. «Ваше имя фигурировало на суде» – этого достаточно. Ректор со мной хорош. Посмотрел мои оправдательные бумаги и говорит: «Я понимаю и верю, дорогой, но надо, чтобы все утихло». – «Что утихло?» – спрашиваю. «Да вот суд, наркотики, журналы». Жду, когда утихнет. Года через два, думаю, смогу вернуться в Питер. А знакомые на улицах встречают, большие глаза делают: «Как, разве вас не посадили?»

– Тебе вернули то, что отобрали?

– Ничего. Ну, не просить же у них!.. Ты пойми, всё ясно только с уголовниками: украл – садись, не украл – гуляй, работай. А с интеллигенцией – худо. ОНИ понимают, что зло – здесь. – Марк показал на свой высокий, красивый лоб. – Им плевать, чего ты там в своих статьях пишешь. Они знают: вот ЗДЕСЬ – не то содержание. И задача у них – одна: перековка сознания. Они будут тягать, держать в предварилках, устраивать очные ставки, делать с тобой что угодно с единственной целью: ты должен думать иначе. Убить личность. Убить мозг. Сделать мозги эластичными и послушными, чтобы человек сам ненавидел крамолу, чтобы при виде, скажем, «самиздата» он не просто шарахался, а автоматически срабатывал, стуча на ближнего. Растоптать достоинство. Доказать, что ты – не интеллигент, а такое же

дерьмо, как все. Вышибить само понятие о личностном начале. Вот когда ты почувствуешь в них своих людей, когда придешь к ним САМ, они и облакают, и помогут, и в институт воткнут, пусть хоть у тебя в характеристике написано, что ты маленьких детей резал... Они меня по 20 часов на стуле держали. Но я себе твердил: у тебя есть достоинство. Есть! Ты выйдешь, будешь с людьми, тебе не должно быть стыдно им потом в глаза глядеть... Знаешь, что Берковский сказал? «Когда – говорит – пройдет время, это будет единственным романтическим эпизодом вашей биографии».

То обстоятельство, что слова эти были тогда зафиксированы, а в 1972 году увидели свет в самиздатской книге Жмаева под названием «Туда и обратно: Ретроспективный дневник» (печатное издание – СПб., 1995), могло по тем временам сыграть свою роль: если бы хоть один экземпляр машинописи попал на Литейный, там без особых усилий выяснили бы подлинное имя «Марка». То есть эта эмоциональная речь могла бы оказаться документом – фактическим свидетельством его тогдашних настроений. Попал ли? Этого мы не знаем.

Читая слова Азадовского 1969 года, можно почувствовать окончательно созревшее в нем к тому времени презрение к официальной доктрине, яростное неприятие навязываемой действительности, ясное понимание роли карательных органов. Впрочем, эти чувства и мысли были присущи в ту пору не ему одному. Они характеризуют скорее все поколение молодой интеллигенции 1960-х годов.

Когда-то Эрнст Неизвестный, говоря о Бродском и его поколении ленинградцев, отметил особенно этот резкий, «злой» стиль отношения к действительности у загнанной в угол талантливой молодежи:

...Эти маленькие интеллектуальные растиньки, под серым петербургским небом, набрались растиньяковской желчи и жестокости. По отношению к жизни. И эта жестокость не была жестокостью плебеев, нет. Их петербургская жестокость была почти ницшеанская, жестокость аристократов.

Итак, Константин Азадовский – спасибо ректору – был отчислен с лаконичной формулировкой в трудовой книжке «в связи с окончанием очной аспирантуры», не препятствующей ни трудоустройству, ни будущей защите диссертации. Другой вопрос, что о преподавании в ЛГПИ, как и в любом другом ленинградском вузе, после на шумевшего «дела Славинского» было невозможно даже подумать. Пришлось искать новое место работы, притом на периферии.

Излюбленным убежищем для изгнанников из Ленинграда издавна считался Петрозаводск: ночной поезд отделял Ленинград от столицы Карелии, где для таких, как Константин Азадовский, находились, как правило, вакантные ставки – добровольно мало кто туда ехал, а своих кадров не доставало. Ну а с тем набором иностранных языков, который имелся у Азадовского, можно было даже выбирать. И он выбирает преподавание английского языка на кафедре иностранных языков Карельского пединститута. Поначалу ему приходилось несладко. Ассистентская должность предполагала серьезную учебную нагрузку (до 30 часов в неделю), так что выкроить время для того, чтобы навестить мать, оставшуюся в Ленинграде, практически не удавалось.

Отдадим еще раз дань благодарности ректору ЛГПИ А.Д. Боборыкину, который пошел навстречу ученику Н.Я. Берковского и дал добро на защиту кандидатской диссертации. Весной 1971 года Азадовский смог наконец напечатать автореферат работы, заверченной еще в 1969 году: «Франц Грильпарцер – национальный драматург Австрии (истоки и философско-эстетическая проблематика творчества)». И вот в июне 1971 года состоялась долгожданная защита. Первым оппонентом на защите был Е.Г. Эткинд, в то время профессор Герценовского института; вторым – кандидат филологических наук (в будущем доктор искусствоведения)

Б.А. Смирнов, заведующий кафедрой в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Через два месяца ВАК утвердил защиту.

Получив диплом кандидата наук, Азадовский остается в Петрозаводске еще на три года; в 1974 году он получает звание доцента. Однако жизнь на два города, почтенный возраст матери и ее болезнь побуждают его искать работу уже в Ленинграде. Как часто бывает, новое место появилось случайно: в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной объявили конкурс на замещение должности завкафедрой иностранных языков, и вот благодаря положительной характеристике из пединститута и посредничеству преподавателя ЛВХПУ Зои Борисовны Томашевской, дочери известного пушкиниста и давнего друга семьи Азадовских, он был избран по конкурсу. Кроме знания собственно иностранных языков, серьезным козырем Азадовского было в данной ситуации наличие искусствоведческого диплома.

Итак, осенью 1975 года Азадовский становится заведующим кафедрой иностранных языков Мухинского училища. Начинается плодотворное пятилетие его научной и педагогической деятельности, которое знаменуется серией научных и литературных работ. Это прежде всего публикации в области русско-немецких литературных связей, связанные с именами Стефана Цвейга, Томаса Манна и, конечно, Райнера Марии Рильке. Именно творчество последнего становится в тот период главной темой Азадовского-ученого; он печатает переводы писем Рильке на русский язык, исследует связи Рильке с деятелями русской культуры – от Льва Толстого до Александра Бенуа, ведет поиск в отечественных и зарубежных архивах. Результатом переписки с западными архивистами стало подлинное открытие Азадовского: письма Марины Цветаевой к Рильке 1926 года, которые, соединившись с ответными письмами Рильке и перепиской Цветаева – Борис Пастернак, образовали знаменитый «треугольник», ныне переведенный почти на все европейские языки и признанный выдающимся культурным событием XX века.

Не менее внушителен и другой пласт его научных интересов – история русской поэзии начала XX века (так называемый Серебряный век), прежде всего наследие русского символизма. Именно в эти годы создаются капитальные труды, посвященные Александру Блоку, Валерию Брюсову, Николаю Клюеву...

Явственно формируется в этот период и научный метод Азадовского. Основу его работ составляют, как правило, неизвестные архивные документы либо тексты, ранее не переводившиеся на русский язык, в сочетании с их осмыслением и содержательным комментарием. Это обстоятельство открывает для него страницы не только чисто филологических журналов, но и таких авторитетных академических изданий как «Литературное наследство» и «Памятники культуры. Новые открытия».

Вместе с тем именно в эти пять лет создается база для будущей докторской диссертации: намечается ее план, готовятся к публикации отдельные фрагменты. В научных планах Мухинского училища диссертация Азадовского была обозначена как работа о восприятии русской литературы на Западе на рубеже XIX–XX веков, тогда как на самом деле он пытался разобраться в вопросе, что такое феномен загадочной «русской души» с точки зрения западноевропейского человека. Как и где возникло само понятие, как оно распространилось в художественной литературе, почему оказалось настолько устойчивым и знаковым как на Западе, так и в России.

Наряду с занятиями «русской душой» Азадовский по-прежнему преподавал, хотя, конечно, уже не так много, как в Петрозаводске, поскольку часть своего времени он должен был – в своем новом качестве заведующего кафедрой – уделять административным обязанностям, которые традиционно (и не только в нашей стране) обрастают бесчисленными планами, отчетами и другими довольно бессмысленными бумагами.

Это были для Азадовского годы спокойной и плодотворной работы, подкрепленной относительным материальным благополучием. Заведующий кафедрой в вузе, подчиненном Мини-

стерству высшего и среднего образования РСФСР, имел оклад 384 рубля в месяц, что по тем временам было немало. Учитывая, что средняя зарплата в СССР в 1980 году официально составляла по стране 170 рублей, такой оклад был вдвое больше, а если сравнить с рядовыми преподавателями вузов или научными сотрудниками Публичной библиотеки, то втрое или вчетверо. Дополнительно он получал гонорары за переводы и публикации, в том числе и появившиеся за рубежом по линии Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП) – обязательного посредника между советским автором и любым иностранным издательством при соблюдении официальных правил.

То обстоятельство, что в 1980 году ленинградский филолог Константин Азадовский (не партиец, не военный, не завмаг) приобрел автомобиль и разъезжал по Невскому на новеньких «Жигулях», демонстрировало его независимость, причем не только финансовую. То, что он при этом умудрился не стать членом партии, просто-таки удивительно, хотя руководители вуза и предлагали ему «определиться». Но если кому-то для продвижения по службе нужно было вступать в стройные ряды КПСС, то Константин вполне довольствовался достигнутым положением. Преподавание, переводы, гонорары давали ему достаточные средства для безбедной жизни в стране победившего социализма, а к иным «благам» он особенно и не стремился.

Однако, имея за плечами и собственный опыт и, помня историю своей семьи, он отдавал себе отчет в том, что и относительная свобода научной деятельности, и материальное благополучие – не повод забывать о стране, в которой довелось родиться. Он знал, что, достигнув определенного положения в советском обществе, необходимо соблюдать если не правила этого общества, то по крайней мере известную осмотрительность, благодаря которому сохраняется status quo. Обыск 1969 года и «дело Славинского» многому научили его – во всяком случае, он старался быть осторожен в том, что касалось «антисоветской» литературы.

Имел ли он отношение к диссидентскому движению 1970-х годов, столь отчетливо набравшему силу в Москве? Громкие процессы над «инакомыслящими», нараставшее движение за право выезда в Израиль, «Хельсинкская группа», «Хроника текущих событий» – все это концентрировалось преимущественно в Москве. А в городе на Неве диссидентство лишь слабо теплилось – местные органы безопасности давили его в зародыше. (Еще со времен «Ленинградского дела» вошла в употребление поговорка, хорошо объясняющая суть работы ленинградских органов: «Когда в Москве стригут ногти – в Ленинграде отрубают пальцы».) То есть ленинградский извод инакомыслия был по московским меркам совершенно безобидным и выражался преимущественно в стихах и подпольных (со временем – полуофициальных) выставках ленинградских художников.

Безобидный интерес Азадовского к поэзии и живописи вряд ли мог привлечь к нему внимание органов. Другое дело – так называемые «контакты», иначе – общение с приезжающими в СССР славистами и германистами; большинство их неизменно находилось «под колпаком», а Ленинградский главк КГБ как раз специализировался на приезжих иностранцах. Они-то, видимо, и были причиной разыгравшихся вскоре событий. Не последнюю роль играли знакомые и друзья, уезжающие в Израиль или Европу, – тут он, конечно, не мог переступить через себя и почти всегда отправлялся в Пулково, чтобы проводить их и проститься.

В целом же инакомыслие как жизненное credo было близко Константину. Разумеется, он был «инакомыслящим» уже со студенческих лет. Но что он совершенно не приветствовал и не примерял к себе, так это диссидентского образа жизни и диссидентской деятельности, как и пьянства или других вольностей, которые отвлекают от главного. А самым важным в своей жизни он считал литературную и научную работу. Это было, как ему казалось, его истинным призванием и по-настоящему мужским делом. Здесь он четко формулировал для себя задачи и цели, не жалел времени и средств для поездок в Москву и, не щадя зрения, часами сидел в архивах и библиотеках...

Когда Д.Я. Северюхин составлял «опыт литературной энциклопедии» ленинградского самиздата послевоенной эпохи, то он отдельно указал на непринадлежность Азадовского именно к самиздату как к области распространения своих работ (переводы Рильке, ходившие в машинописи в 1960-е годы, остались в прошлом): «Отмечу, что многие весьма известные авторы, принадлежавшие к этой неофициальной культурной среде (например, Ефим Эткинд, Константин Азадовский или Геннадий Шмаков), насколько нам известно, не распространяли своих произведений в самиздате и потому в энциклопедию не включены». То есть и публикаторская, и литературная деятельность Азадовского протекала в подчеркнуто законном русле.

Он шел твердой поступью, видя знакомые с детства примеры – собственного отца, В.М. Жирмунского, Ю.Г. Оксмана... Всех тех, для кого главным делом жизни стала наука о литературе. В то же время, однако, сформировавшись как личность в эпоху оттепели, он не имел свойственного старшему поколению страха, не сближался с теми, кто ему не нравился, не был согбенно-дипломатичен, даже напротив – слегка заносчив и честолюбив.

Глава 2

Блицкриг

Светлана

Они познакомились в 1975 году. Произошло это довольно банально, поскольку они просто жили в одном доме на улице Желябова. Светлана в то время была вдовой – в 1973 году она потеряла мужа. Отношения развивались неспешно, однако в 1978 году, когда Азадовские переехали на улицу Восстания, Константин Азадовский и Светлана Лепилина, хотя и не были зарегистрированы, воспринимались многими как семейная пара. «Поначалу, – свидетельствует Виктор Топоров, – к их неожиданно подзатынувшемуся союзу отнеслись с юмором, потом с ужасом (особенно сокрушались потенциальные невесты и их обремененные степенями и заслугами родители – Костя был завидным, вечно ускользающим женихом), потом свыклись...»

Не нужно долго гадать, чем Светлана привлекла Константина, который и без того не был обделен женским вниманием. Эта молодая женщина разительно выделялась на фоне «филологических» и «околопоэтических» ленинградских барышень. Она совершенно не стремилась что-то из себя изображать и «казаться»... Ее неподдельная искренность и доброта, отсутствие какой бы то ни было манерности или наигранности, столь свойственной девушкам в компаниях интеллигентской молодежи, и совершенно не питерская эмоциональность не могли оставить равнодушным никого из окружающих. К тому же она была еще и красавицей с соломенной копной волос.

Осень 1980 года выдалась для него беспокойной: то разлад со Светланой, то неприятности на работе. Подходил к концу пятилетний срок заведования кафедрой; перевыборы должны были состояться в начале осени, но их неожиданно перенесли на декабрь. Безусловно, ни у Константина, ни у сотрудников кафедры не было сомнений в благополучном исходе дела, но сама неопределенность не давала покоя.

К тому же последние месяцы Азадовский постоянно боролся с собственными страхами: в нем нарастало ощущение, будто кто-то за ним наблюдает. Впрочем, год Олимпиады-80 вполне мог преподносить такие сюрпризы. Тем более что и Константин, и Светлана свободно общались с иностранцами, и как раз в тот самый олимпийский год они не раз могли убедиться, что местные сотрудники КГБ держат их под контролем. Масла в огонь подлил один из друзей, которого осенью вызывали в Большой дом для «профилактической беседы»; ему, в частности, задавали вопросы относительно Азадовского. Не в силах заглушить тревогу, Азадовский проверил квартиру на предмет сам- и тамиздата; он не исключал, что к нему могут нагрянуть с обыском. Чувство перманентной тревоги, притупившись, становилось привычным состоянием.

Вечером 18 декабря 1980 года Константин, сидя дома, ждал Светлану. Он не знал, что у нее после работы была назначена встреча с каким-то иностранцем. Поразительная способность Светланы, человека на редкость отзывчивого и доверчивого, заводить неожиданные знакомства раздражала Константина. Слова Светланы «К нам завтра придут гости, они тебе очень понравятся» не были редкостью.

На сей раз помощь потребовалась испанскому студенту, прибывшему в Ленинград на один семестр и боровшемуся то с простудой, то с суровой ленинградской действительностью. Подробности этой ситуации описывают друзья Азадовских, театральные режиссеры Генриетта Яновская и Кама Гинкас:

Костя с ней не был зарегистрирован, но они встречались уже несколько лет. Она человек очень открытый, со всеми легко знакомилась, помню, как-то у нее гуляли даже суперпопулярные тогда «Поющие гитары». Точно так же случайно она познакомилась где-то с испанским студентом-математиком, который в первый раз попал в Россию, ничего не понимал, был в полной растерянности. Она сразу кинулась ему помогать. Потом он заболел, она возила ему лекарства. И вот очень благодарный испанец уже должен был уезжать. Света встретилась с ним попрощаться. Они даже посидели в каком-то кафе. Сначала он попросил у нее поменять ему доллары на рубли: ему, мол, надо в Москву, а у него нет других денег. Она сказала, что у нее нет с собой денег, предложила зайти к ним домой. Костя жил тогда недалеко у Московского вокзала. «Нет-нет, не надо, я что-нибудь придумаю». Потом он немного проводил ее до дома, все порывался подарить джинсы, просил помочь. Он привез для каких-то людей лекарства, но они с ним так и не встретились, и он попросил ее передать эти лекарства. Они попрощались.

В тот вечер у нее болела голова, и она в последний момент передумала заходить к Азадовскому (о чем они утром договаривались по телефону) и решила, пройдя через их проходной двор, вернуться к себе на Желябова.

«Гражданка, остановитесь!» Кто-то в форме подхватил ее под локоть, другой преградил дорогу, еще двое в штатском – мужчина и женщина – встали рядом. Вообще к ней на улице частенько цеплялись, пытались познакомиться, но тут явно было что-то другое: к ней обратился не обычный прохожий, а милиционер... Да и такое обилие суровых лиц в темном, хотя и знакомом дворе не могло ее не обеспокоить.

А голос... Голос, попросивший предъявить документы. – Как удивительно слилось в нем все мерзостное, что лежало на дне ее не столь уж долгой жизни! Сколько раз она слышала это бесцветное «гражданка», «гражданочка», и это всегда вызывало у нее содрогание.

И сейчас, остановленная в сумраке проходного двора незнакомыми людьми, она вздрогнула и заволновалась. Думая о том, что привычка носить с собой паспорт оказалась как нельзя кстати, она пыталась сохранять видимое спокойствие. Спокойствие, однако, не сохранялось: она подозревала, что сейчас обнаружатся прощальные подарки друга-испанца – импортные джинсы и две пачки сигарет. Ей заранее было известно продолжение – вопросы «откуда» и «зачем»... Тем более что борьба со спекуляцией и фарцовкой развернулась в том году особенно сильно. От волнения сумочка выпала из рук, ее содержимое вывалилось на заснеженный двор...

Вероятно, это было уже последней каплей, поскольку и явное волнение Светланы, и громкие вопросы «Какое вы имеете право?» усугубили раздражение милиционеров. Подняв с асфальта перчатки и остальные вещи, выпавшие из сумочки, ее уже принудительно сопроводили в ближайший «опорный пункт». Пришлось повиноваться.

В опорном пункте охраны порядка, где обычно скучают дружинники или пьет чай участковый в часы приема населения, все было готово к появлению делегации из пяти человек. Милиционеры с фамилиями Арцибушев и Матняк и двое в штатском, оказавшиеся дружинниками, стояли у стола, на который грудой были вывалены вещи задержанной. К счастью, джинсы и сигареты не вызвали вопросов. Но тут она увидела, что милиционер Матняк крутит в руках маленький пакетик из фольги. Именно вокруг этого пакетика, который тут же развернули, и строился дальнейший разговор.

«Даже без экспертизы можно сказать, что это не лекарство», – сказал Матняк. Тональность разговора резко переменилась.

«Чертово лекарство, зачем я его взяла?» – подумала, наверное, Светлана, переживая крики милиционера. Зачем взяла? А как было не взять? Как же человек сможет получить заграничное лекарство, если она не поможет?

Но тут предстояло еще одно испытание – женщина ультимативно предложила Светлане раздеться. Светлана даже не сразу поняла, что именно требует от нее недружелюбная дружинница, поскольку полушубок она уже сняла. Но все было предельно ясно: прямо здесь, при всех, нужно полностью снять всю одежду. Вариантов никаких. Светлане опять пришлось подчиниться. Ничего не обнаружив, милиционеры позволили ей одеться.

В состоянии близком к душевному расстройству ее вывели на улицу. Там стояла черная «Волга». Как будто в кинофильме про шпионов, ее посадили на заднее сиденье: двое по бокам, она – в середине. Милиционер Арцибушев, старший по званию, сел на переднее сиденье. Ожидая, пока из опорного пункта выйдет водитель, Арцибушев повернулся к Светлане, посмотрел на нее и не без азарта сказал: «Вот и схлопотала три года!»

Машина двинулась в 27-е отделение милиции, переулок Крылова, 3. В отделении краски еще более сгустились: дружинники превратились в понятых, началось следствие, а милиционеры, ознакомившись с содержимым пакетика из фольги, уверенно вынесли свой вердикт, который затем подтвердит и экспертиза: анаша!

Конечно, Светлана не сразу догадалась, в чем дело. С наркотиками ей раньше не приходилось сталкиваться, а если бы сталкивалась, могла бы, вероятно, что-то заподозрить в том завернутом в фольгу «лекарстве от головной боли», которое предложил ей испанец. Впрочем, это уже не имело значения. Новая реальность обрушилась на нее жуткой тяжестью – статья 224 УК РСФСР. Содержание этой статьи было ей зачитано настолько внушительно, что, будь это не уголовный кодекс, а стихи или басня, милиционер бы мог поступить в театральный институт.

Дальше – больше. В тот же вечер дежурный по Куйбышевскому РУВД майор уголовного розыска Замяткина возбуждает в отношении гражданки Лепилиной уголовное дело № 10196 «по признакам преступления, предусмотренного ст. 224 ч. 3 УК РСФСР» – незаконное приобретение и хранение наркотических веществ.

Начался допрос, который закончился в полночь. Возгласы Светланы в жанре «я никогда не употребляла наркотики» или «я не понимаю, что здесь происходит» вызывали лишь дружный смех. Принадлежность пакетика задержанной была засвидетельствована понятыми, так что ни о какой экспертизе на предмет отпечатков пальцев речи не шло: оперативники вскрыли его собственноручно еще в опорном пункте, а перед отправкой на экспертизу взяли и пересыпали в другой, более надежный конверт. Происхождение наркотика также не слишком волновало дознавательницу Замяткину, хотя Светлана мало что могла пояснить, ведь даже фамилии своего знакомого испанца она не знала, а назвала только имя – Хасан. Впрочем, она сообщила о его учебе в Ленинградском университете, о гостинице, в которой он остановился, и о предстоящем отъезде в Испанию... Так что при желании найти иностранца было бы нетрудно. Но такого желания – ни в тот вечер, ни потом – у следствия не возникло. «С ним мы разберемся, когда его найдем, – сказала Замяткина по поводу иностранца. – А вас мы уже взяли с поличным. Или хотите групповое?» Вопросы следователя совсем не касались испанца, зато ее очень интересовал конечный пункт Светланиного маршрута в тот вечер: почему, например, она шла именно через двор десятого дома. Ответы насчет того, что двор проходной, одобрения у следователя не вызывали. Да и на самом деле: ведь попасть на улицу Желябова с площади Восстания куда проще через Невский и незачем делать петлю через улицу Жуковского, огибать цирк и т. д.

Но поскольку Светлана действительно решила обойти Невский, который в тот вечер из-за разбросанной соли заполнился водянистой жижей, и пройти через заснеженную параллельную улицу, то ничего другого она не могла сказать. Тогда следователь изменила тактику – спросила,

кто из ее знакомых живет в десятом доме по улице Восстания. Светлана назвала фамилию, но пояснила, что шла домой...

Но и тут следователь ей не поверила. Словами «Органам о вас все известно» она всячески подводи́ла Светлану к тому, что та направлялась в квартиру 51 к гражданину Азадовскому. Светлана чувствовала недоброе от столь сильного желания майора Замяткиной зафиксировать в протоколе прежде всего факт ее «сожительства» с «гражданином Азадовским». Но как ни билась Замяткина, она так и не получила от Светланы этого признания. Допрос был закончен. Светлану отвели в камеру при отделении милиции.

Через несколько минут начался допрос гражданки З.И. Ткачевой, соседки Светланы по коммунальной квартире, чей сын на пару с мамашей уже не первый год превращал ее жизнь в ад. Откуда Замяткина узнала про Ткачеву, неясно. Ведь еще до того, как она закончила допрос Светланы, она уже распорядилась отправить за Ткачевой дежурную машину.

И гражданка Ткачева подтвердила все слова, сказанные следователем, сопровождая свой рассказ причитаниями и репликами «Я ведь сигнализировала!» и т. д., и подписала протокол допроса, в котором значилось то, чего не удалось получить от Светланы: «Да, Лепилина сожительствует с Азадовским! Да, она практически не бывает у себя дома на улице Желябова, а живет на улице Восстания! Да, они ведут совместное хозяйство и являются сожителями».

Светлана, коротавшая часы в камере 27-го отделения, заснуть в эту ночь так и не смогла. Было ясно, что этот «испанец» подвел ее под монастырь. Но зачем? С какой целью? Кто за этим стоит? Почему столько вопросов о Косте?

Мысли ее возвращались к пакетику из фольги. Почему она не подумала, что это могут быть наркотики? Ведь получалось так, что она взяла этот злополучный пакетик у малознамого человека, да еще иностранца, которого и знала-то без году неделя. А как много они говорили той осенью с друзьями о возможных провокациях!

Светлану охватило состояние близкое к панике; она вообще перестала понимать что-либо. Кто же он такой на самом деле, этот «испанец»? При чем тут анаша? Но больше всего она терзалась мыслью о Косте. Прожив рядом с ним пять лет, она лучше прочих знала, что он мог быть замешан в каком угодно идеологическом «преступлении», но только не в употреблении наркотиков. Да и к этому Хасану он никакого отношения не имел. Может, это Ткачева? Но опять же: при чем тут испанец и наркотики? Все получалось как-то сложно и запутанно.

В любом случае этот вечер 18 декабря 1980 года превратился для нее в страшный сон, точнее бессонницу. И, перемежая свои размышления слезами, она коротала ночь на скамье «обезьянника».

Но не одна она не могла заснуть в ту ночь. Константин весь вечер ждал от нее звонка, но так и не дождался; дозвониться ей он тоже не смог, стал сильно тревожиться и далеко за полночь наконец заснул.

Не спала и следователь дежурной группы Следственного управления ГУВД майор Замяткина. Уже наступило 19 декабря, и следствие должно было двигаться дальше, не теряя драгоценного времени. Раскручивался клубок уголовного дела, и важно было соблюдать процессуальность. Недаром майор Замяткина так добивалась формальных оснований для «связи» гражданки Лепилиной и гражданина Азадовского: ведь на этом основании можно было ходатайствовать перед прокурором о дальнейшем, в первую очередь – о санкции на обыск.

И чтобы все было неукоснительно по закону, майор Замяткина решает просить прокуратуру о проведении обыска, причем не у гражданки Лепилиной, что было бы логично, а у только что установленного следствием ее сожителя, гражданина Азадовского. Ведь логика у преступников особая, и еще неизвестно, где они хранят анашу... Откладывать она не может, мало ли что выкинет сожитель Лепилиной, догадавшись, что со Светой что-то стряслось. И вот, не робея, Замяткина в полночь звонит заместителю прокурора Куйбышевского района Сергею Владимировичу Зборовскому, который странным образом оказывается в курсе дела;

мол, его уже предупредили, и он согласен санкционировать обыск. В час или два ночи к нему приезжает капитан Арцибушев и получает подпись на постановлении.

На этом роль гражданки Лепиловой можно было считать законченной: наркоманка взята с поличным, уголовное дело в отношении ее возбуждено, доказательства ее преступной деятельности налицо; дело за формальностями.

Но она еще два дня проведет в камере 27-го отделения в переулке Крылова.

Днем 20 декабря следователь Е.Э. Каменко спросил Светлану, кому из родственников следует сообщить о ее задержании. Светлана назвала свою близкую подругу Зигриду Ванаг и дала номер ее телефона, который помнила. Следователь действительно позвонил, сказал, что Светлана задержана за хранение наркотиков, и попросил собрать для передачи в следственный изолятор зубную щетку, мыло, полотенце, белье... Таким образом Зигрида Ванаг и ее муж Юрий Цехновицер стали первыми, кто узнал о случившемся. «Нас все это как обухом по голове ударило. Какие-то наркотики...» – вспоминает Зигрида Болеславовна.

Светлана в эти часы пребывала в тяжелом, почти депрессивном состоянии – настолько, что 20 декабря сухой милицкий протокол зафиксировал «попытку самоубийства» и в деле появится соответствующая помета. Ну а потом приедет автозак, и она будет отконвоирована в Кресты – Следственный изолятор города Ленинграда № 1.

«Заезд на тюрьму», и без того способный сильнее всего потревожить рассудок молодой красивой женщины, усугубится действиями оперчасти Крестов: контролер СИЗО, проведя обычный в таких случаях личный обыск, распорядится обрить гражданку Лепилову, потому как «длинные волосы могут стать источником антисанитарии».

Была ли это чисто женская месть Светлане со стороны контролерши или же исполнение чужой воли, неизвестно. Или, увидев склонность Светланы к суициду, некто стал опасаться, что, обрезав свои волосы, она сошьет из них веревку? Так или иначе, но результат был достигнут, что являло собой классический образец «пытки унижением». Светлана была окончательно деморализована.

Уже в камере она узнает о том, что означает, помимо чувства стыда и унижения, та процедура, которой она была подвергнута: в российских женских тюрьмах бритье наголо применялось сокамерницами к детоубийцам – самому дну женской уголовной иерархии – или же к бездомным и спившимся, которые поступают в следственный изолятор с вшами и прочей заразой.

Светлане в тот момент было неизвестно, что еще 20 декабря, когда она находилась в районном отделении милиции, те же милиционеры, которые ее задерживали, провели обыск у нее дома. Не знала она этого потому, что обыск проводился в ее отсутствие; она прочтет об этом только при ознакомлении с уголовным делом.

Список изъятого при обыске у Лепиловой говорит о том, что его результат оказался явно более скромным, чем ожидалось: это были в основном свидетельства ее увлеченности французским языком. Но главное, что было все же достигнуто в ходе обыска – подтверждение связи Лепиловой и Азадовского.

Приведем, по протоколу, перечень изъятого:

1. Копия плана подготовки спецдружины на 3-х листах.
2. Перечень населенных пунктов Ленинграда.
3. Светло-коричневая женская куртка.
4. 2 записные книжки.
5. Документы, свидетельствующие о связи Лепиловой с Азадовским.
6. Копия диссертации Азадовского.
7. Книга Азадовского с дарственной надписью.
8. Переписка Азадовского с иностранными корреспондентами.

9. Две фотографии, на одной из которых Азадовский запечатлен вместе с Лепилиной.
10. Фотографии Лепилиной, в т. ч. иностранные.
11. Переписка Лепилиной с иностранными корреспондентами.
12. Разорванная записная книжка с адресами.
13. Блокнот с адресами и стенограмма судебного процесса над Ткачевым.
14. Книга С. Маковского «Год в усадьбе».
15. Общая тетрадь с записями 48 листов.
16. Книга Зиновьева о Ленине.
17. Записка, обнаруженная соседкой Ткачевой в почтовом ящике.
18. Книга на ин. языке под названием «Китч».
19. Кожаная записная книжка с записью псалма.
20. Две фотографии с изображением Лепилиной.
21. Журнал порнографический.
22. Журнал «Звезда» 1934 г. три номера.
23. Книга «Совещание деятелей Советской музыки в ЦК ВКПб 1948 г.»
24. Книжка под названием «В дни войны».
25. Книга «Боннар».
26. Книга «Летранже» с дарственной надписью от К.А.
27. Журнал «Обсерватёр».

Обыск

Как установило следствие, «сожителем» Лепилиной был гражданин Азадовский Константин Маркович, 1941 года рождения, уроженец Ленинграда, русский, беспартийный, ранее не судимый, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков ЛВХПУ имени В.И. Мухиной...

Удивительно, до какой степени следователь Замяткина была озабочена скорейшим производством обыска именно у Азадовского. Вероятно, для этого были причины. Ведь если бы Азадовский был рядовым гражданином, то Замяткина не лезла бы из кожи вон, чтобы получить санкцию; полуночные допросы и поездки к прокурору не были в то время обычной практикой. Такие экстраординарные действия милиции свидетельствовали о серьезной социальной опасности Лепилиной и Азадовского. Но что послужило поводом? Какими данными располагала следователь?

Для ленинградской милиции Азадовский был малоинтересен. В его поведении не было ничего такого, что позволило бы органам внутренних дел взять его на заметку. То обстоятельство, что, будучи филологом-германистом, он занимался не писателями ГДР, а творчеством буржуазного поэта-декадента Райнера Марии Рильке, не Маяковским или Демьяном Бедным, а Блоком и Клюевым, вряд ли кого-то могло насторожить... И хотя впоследствии ему выразят недоверие в связи с тем, «что, дожив почти до сорока лет, он ни разу не был женат», все это никак не могло попасть в поле зрения милиции. Тем не менее уже в ночь с 18 на 19 декабря, получая подпись прокурора на постановлении об обыске, капитан милиции Арцибушев наверняка знал, что ему предстоит проводить следственные действия у человека с довольно криминальной репутацией.

Утром 19 декабря 1980 года Константин Азадовский был разбужен звонком в дверь; женский голос произнес: «Телеграмма». Это была соседка, которую попросили принять участие в оперативном мероприятии в роли почтальона. Телеграмма обернулась группой из шести человек в штатском; четверо из них представились работниками милиции, двое были понятые. Руководивший десантом капитан милиции Арцибушев предъявил служебное удостоверение капитана 15-го отдела ГУВД (отдел по борьбе с наркотиками) и постановление на обыск.

Поскольку Константин Маркович не в первый раз встречал в своей прихожей группу почтальонов с ордером на обыск, то он был скорее возбужден, нежели подавлен. Протянутое ему постановление он нашел странным. В нем дословно говорилось следующее: «18 декабря 1980 г., около 18 часов у парадной дома № 10 по ул. Восстания за незаконное приобретение наркотического вещества была задержана гражданка Лепилина – сожительница Азадовского Константина Марковича». Вследствие этого, «принимая во внимание, что на квартире у гр-на Азадовского Константина Марковича могут находиться предметы и документы, имеющие значение для дела», следователь постановил: «Произвести обыск и выемку в квартире гр-на Азадовского Константина Марковича по адресу г. Ленинград, ул. Восстания 10 кв. 51».

Слово «сожительница» резануло глаз, да и «постановление об обыске и выемке» показалось ему, видимо, сомнительным; во всяком случае, он отказался его подписать, что и было зафиксировано двумя понятыми. Несмотря на такой жест, вряд ли справедливо утверждать, что Азадовский был морально готов к обыску, все-таки подобная процедура – исключительное событие в жизни филолога; с другой стороны, его успокаивала твердая уверенность в том, что посетители не найдут у него ничего такого, что можно будет использовать как улику для обвинения по какой-либо статье.

Гости тем временем не робели, вели себя более чем уверенно, и у хозяина появилось ощущение, что они заранее знали расположение комнат. Например, они сразу прошествовали не в комнату Лидии Владимировны, что была ближе к входной двери, а через коридор – в ком-

нату Константина Марковича. Это было помещение, больше напоминавшее Кабинет Фауста в Публичной библиотеке; с пола до потолка оно было уставлено полками с книгами, завалено папками, на столе и вокруг лежали бумаги в кипе...

Поиск наркотиков начался с осмотра книжного шкафа. Константин, войдя в раж, предлагал: «Как-то вы не тем интересуетесь! А что же наркотики? Вот в соседней комнате, у матери, имеются лекарства, не желаете взглянуть? А в машине посмотреть не хотите?»

Но милиционеры твердо шли по идеологической, а не фармакологической тропе. Позже в письме в ЦК КПСС Азадовский напишет:

Сотрудники, производившие обыск, интересовались исключительно моей библиотекой, моими научными и литературными трудами (в рукописях), бумагами личного порядка, перепиской и т. д. Поиском наркотиков никто не занимался. Ни к медицинским рецептам, ни к тем наркотическим средствам, которые действительно имелись в квартире (лекарства моей матери), никто из сотрудников даже не прикоснулся. Помещения квартиры (за исключением моей комнаты) не были вообще обследованы или были обследованы крайне бегло. Не был произведен обыск и в принадлежащей мне машине, хотя я сам предлагал это сделать.

Однако представление милиционеров о квартире Азадовского было все же неполным. И когда около девяти часов утра, отобрав внушительную стопку книг иностранных издательств, они наткнулись на огромное количество фотографий русских поэтов начала XX века, стало очевидно, что эта находка для них – полная неожиданность. Озабоченный капитан Арцибушев стал куда-то звонить и просить о подмоге. Закончив разговор, пояснил, что скоро приедет еще один коллега, «специалист».

Но пока специалист добирался до улицы Восстания, произошел ключевой эпизод обыска – было найдено, вопреки уверенности Азадовского, то самое, что послужит главной уликой. Цитируем его показания на суде 1988 года:

Я стоял около окна и смотрел на улицу, в простенке между окнами находился стеллаж с книгами. [Лейтенант милиции] Хлюпин осматривал книги. Неожиданно я оторвал взгляд от окна и посмотрел на Хлюпина, и в этот момент я увидел, что против рук Хлюпина, на полке, примерно на высоте пятой полки снизу, лежит какой-то пакет завернутый в фольгу, и я довольно резко, как мне вообще свойственно, спросил у Хлюпина, что это тут такое у вас? На что Хлюпин растерялся, смутился и так сказать ступешался; вмешался Арцибушев: вот мы сейчас и посмотрим, что вы тут хранили на полке. Пакет был перенесен на стол, развернут: в нем оказалось вещество с пряным запахом, бурого цвета (ну, я не сомневаюсь, что это была анаша). В общем, понимая, что происходит, я тут же сказал Хлюпину, что этот наркотик им подброшен; наверное, вы вынули его из кармана, сказал я, так появилось это упорное повторение, упоминание про карман в показаниях [понятого] Константинова, что он точно видел, что ни один из сотрудников милиции в течение двух часов руки в карманы не опускал. Сотрудники, производившие обыск мало реагировали на мои восклицания, обыск продолжался, а Арцибушев мне не без удовлетворения стал объяснять, что вот все совпало, все сходится; вчера Лепилину задержали, ее он и задерживал, и вот она, значит, тоже хранила наркотики и даже выбросить его пыталась при задержании, вот теперь и у вас нашли, так что три года вам обеспечено, и многое другое. Обыск продолжался приблизительно до двух часов дня. В результате обыска была изъята, помимо наркотика, сумочка Лепилиной с находящимися в ней вещами; Арцибушев

объяснял позднее в следственном управлении ГУВД, он изымал ее, потому что ему необходимо было доказать связь Азадовского с Лепилиной. Кроме этого наркотика и сумочки было изъято восемь печатных изданий, два проспекта и 23 фотографии. Я говорю только о том, что занесено в протокол обыска; того, что не отражено в документах, я вообще касаться не буду, хотя многое в этом деле находится вне документов.

Сотрудник, командированный для изучения печатных материалов и фотографий и вовсе не предъявивший никакого удостоверения, застал апогей обыска – озлобленного Азадовского и торжествующе-спокойных коллег. Прибывший лишь подлил масла в огонь – просматривая фотографии, он то и дело отпускал язвительные замечания. Когда же зазвонил телефон и Азадовский инстинктивно дернулся к трубке, один из милиционеров, моментально отреагировав, резко оттолкнул его в сторону. Тогда Азадовский, не оробев (инцидент даже придал ему злости), потребовал занести этот факт в протокол обыска, так что Арцибушев вынужден был вписать в протокол данные своего импульсивного коллеги: лейтенант милиции В.И. Быстров.

Что было дальше? Лейтенант Хлюпин, как показывает один из протоколов допроса, «не просто растерялся, но разнервничался до такой степени, что прекратил поиски. “Не дай бог еще что-нибудь обнаружу”, – сказал он». На этом он действительно прекратил свое участие в процессуальном действе, и остальные полки того самого стеллажа, в котором был обнаружен пакетик с зельем, не осматривались ни им, ни другими сотрудниками. Остальные стеллажи также не осматривались, а их было достаточно много (судя по более поздним обращениям матери и друзей Азадовского в различные инстанции, в квартире на тот момент было 12 стеллажей разной ширины, на которых располагалось приблизительно 7–8 тысяч томов).

Затем приступили к оформлению протокола, несмотря на то что обследована была лишь малая часть квартиры: нетронутыми остались, помимо стеллажей с книгами, кухня, ванная, туалет, комната матери, большая часть коридора... Обыск ограничился детальным исследованием письменного стола и наваленных у его подножия бумаг, а также одного злосчастного стеллажа. Но даже для этого оперативникам потребовалось в общей сложности почти шесть часов. К полудню они начали закругляться. Было видно, что борцы с наркоманией торопятся.

Азадовский что-то пытался доказывать, обвинял милиционеров в том, что ему подбросили наркотики, пытался обратить внимание понятых на то немаловажное обстоятельство, что обыск, по сути, не проводился. Но он был бессилен. Как гласит «Руководство для следователей», изданное Всесоюзным институтом по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности Прокуратуры СССР в качестве служебного руководства, «успех обыска определяется качеством его подготовки». В случае с обыском у гражданина Азадовского, бесспорно хорошо подготовленным, успех органов был очевиден.

Понятые в тот же день были допрошены следователем и дали показания, призванные опровергнуть заявления Азадовского, что наркотик ему якобы подброшен. Одним из понятых стал сосед по дому (Г.С. Макаров); он был явно испуган происходящим и держался робко. Зато другой, Д.А. Константинов, который оказался «случайно встреченным дружинником», вел себя так, что, только обратившись к протоколу, можно понять, что это еще один понятый, а не сотрудник милиции. Во время обыска он суетился, сам снимал с полок и рассматривал книги, если же какая-то из них казалась ему подозрительной, подносил одному из милиционеров...

Д.А. Константинов: ...Я наблюдал за сотрудниками милиции и четко видел, как сотрудник милиции, осматривающий книжный шкаф, стоящий между окнами, как он достал пачку книг с полки, заглянул за книги и изрек восклицание, после этого достал из возникшей ниши пакет в фольге и положил его на полку. К нему сразу подошли другие сотрудники, и я увидел этот пакет

вблизи. Я убедился, что по виду этого пакета можно сказать, что он лежит в аккуратном месте, во всяком случае в кармане его не носили, иначе бы пакет помялся. Кроме того сотрудники милиции ни на секунду не опускали руки в карман. Пакет на моих глазах развернули, и я увидел вещество бурого цвета, издающее запах пряностей.

Г.С. Макаров: ...Я не наблюдал за сотрудником, осматривавшим стеллаж, находившийся между окнами. Услышал, что найден какой-то пакет... Пакет этот лежал на полке перед книгами, когда обыск только начался, этого пакета не было. Сотрудник нам показал место с левой стороны стеллажа за книгами. Азадовский сразу стал говорить, что пакет ему подложили.

А на следующий день в деле добавились показания инспектора Хлюпина:

18 декабря 1980 г. мой сослуживец Арцибушев пригласил меня с 2-мя понятыми помочь провести обыск в квартире у гр-на Азадовского... Я брал с полок несколько книг, вынимал их, не читая, быстро перелистывал страницы и ставил книги на место. Так я просмотрел несколько книг, дошел до четвертой полки снизу и стал справа налево вынимать книги и просматривать их. Когда я вынул с левой стороны последние несколько книг, просмотрел их и уже собирался ставить на место, то увидел в образовавшейся от выемки книг нише лежащий на освободившемся участке ниши пакет в бумаге-фольге. Я действительно немного растерялся, а потом взял пакет, переложил его на полку выше и спросил, что это такое. Азадовский в это время стоял около полки у окна и смотрел на меня. Он сразу стал кричать, что этот пакет я достал из кармана и подложил на полку. Пакет был развернут, и там было вещество бурого цвета...

После того, как я нашел этот пакет, обыск продолжался еще около четырех часов, мы продолжали осматривать книги; после того как были записаны все претензии Азадовского, он продолжал что-то говорить не по существу обыска, высказывал какие-то претензии, а я действительно торопился на работу, у меня были свои дела, и я сказал Арцибушеву, что могу подписать протокол, так как обыск закончен, и уйти.

Вскоре посетители ушли, забрав с собой и хозяина. Как отмечено в материалах дела, «в 14–00 он был задержан по подозрению в совершении преступления» и препровожден в то же самое 27-е отделение милиции. Капитан Арцибушев, передавая Азадовского в руки следователя Евгения Эмильевича Каменко, сказал напоследок: «Не по душе мне это все, я только выполняю приказ...»

Следователь Каменко сухо разъяснил Азадовскому, что ему вменяется «незаконное приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта», то есть преступление, наказуемое в соответствии со статьей 224, пункт 3 УК РСФСР сроком до трех лет лишения свободы. Тогда же надлежало принять решение о мере пресечения обвиняемому (взятие под стражу, подписка о невыезде и т. п.), которое должен был утвердить начальник следственного отдела Куйбышевского района подполковник милиции И.А. Сапунов.

Ознакомившись с материалами обыска и задержания, Сапунов поначалу не дал разрешения на арест – мол, слишком уж слаба доказательная база. Ни отпечатков на фольге, ни показаний свидетелей, ни данных об употреблении – словом, ничего...

– Почему это наркотики именно Азадовского, если вчера с таким же пакетом была задержана его сожительница? А может, эти наркотики принадлежат ей? Почему нет показаний матери, проживающей в той же квартире? Зачем развернули сразу, не сняв отпечатки пальцев?

Почему милиционер не сразу заявил об обнаружении, а после переключиваний и рассматриваний?..

Но тут выяснилось, что за ходом дела уже следят в главке и ожидают от Сапунова единственно верного решения. Но он все тянул и не соглашался. Ожидающие в коридоре Азадовский и понятой Макаров слышали обрывки телефонных разговоров строптивного начальника, где вперемешку с матом Сапунов растерянно повторял: «Как же мне его сажать? Ведь материалов-то никаких нет...»

И для укрепления «доказательной базы» в тот же вечер было произведено дополнительное действие: у Азадовского затребовали дубленку и пиджак, которые через полчаса вернули. О том, для чего это было сделано, он узнает позже, когда будет знакомиться с уголовным делом. Оказывается, в 22 часа следователь с коллегами произвел «исследование содержимого карманов дубленки и пиджака», изъяв «крупницы мусора», масса которых составила 0,22 грамма. Вскоре экспертиза установит, что в составе «крупниц мусора» имеется анаша. То обстоятельство, что это доказательство было добыто без соблюдения процессуальных норм (например, при отсутствии понятых), не изменит самого факта, приобщенного затем к набору «доказательств».

Чтобы оценить, насколько ситуация с задержанием Азадовского была для милиции неординарной, следует упомянуть эпизод, в реальность которого даже трудно поверить. Когда днем 19 декабря Азадовского доставили в отделение и милиционеры все не могли между собой договориться о дальнейшей процедуре, его попросили выйти из кабинета и ждать в коридоре. Он вышел, сел и некоторое время слушал, как собачатся между собой люди в погонах, обсуждая его участь. Но вдруг понял, что рядом-то никого нет – его никто не охраняет, наручников на нем тоже нет...

Он осторожно дошел по коридору до лестницы, потом спустился, вышел на крыльцо и оказался на улице. В те годы на входе в отделения милиции еще не было ни турникета, ни даже дежурного милиционера. По переулку Крылова он дошел до Садовой улицы, где на углу был телефон-автомат. Сперва, выпросив у прохожих монету, он позвонил маме, постарался ее, как мог, успокоить, посоветовал ждать развития событий. Затем позвонил на работу – трубку на кафедре подняла лаборантка Елена Кричевская, которой он сказал, что его несколько дней не будет. Светлане, увы, позвонить было уже невозможно.

Что делать, думал он. Если бы знать, что произошло со Светланой, было бы проще. Однако, по словам Арцибушева, она уже дала «признательные показания». В чем она могла «признаться»? Что будет с ней?

И тут ему в голову пришла идея пойти на вокзал и первым же дневным поездом уехать в Москву (железнодорожные билеты в то время еще не были именными, и для их приобретения не нужен был паспорт). А уже в Москве явиться в Генеральную прокуратуру СССР и сделать заявление – о подброшенном наркотики, незаконном обыске, задержании Светланы...

Однако светлая идея разбивалась о неодолимые (как ему казалось) препятствия. Удастся ли добраться до Москвы? У кого остановиться (с дневного поезда нужно будет ехать к кому-то из друзей на ночлег, тем самым можно превратить друга в укрывателя преступника и потащить его за собой). И, главное, где взять денег на билет? Ведь домой идти нельзя...

Одним словом, Азадовский решил вернуться в отделение милиции, чтобы не ухудшить своего и без того печального положения. К тому же он все-таки надеялся, что его отпустят, по крайней мере под подписку о невыезде. И тогда он пошел назад. Именно в тот момент встретил своего приятеля Вадима Жука (ныне известного актера и литератора) и, поведав ему о случившемся, просил сообщить об этом общим друзьям – Боре Ротенштейну и Гете Яновской.

Дадим слово Генриетте Яновской:

В середине декабря я ставила спектакль в [театре] Ленсовета. И в самый разгар репетиций у меня началась жуткая пневмония, температура под 40.

Лежу дома, Кама [Гинкас] ставит во Владивостоке. Вдруг заходит в комнату Данька: «Мама, к тебе пришли». Кто? Зачем? Входит Вадька Жук почему-то в белых шерстяных носках и, ошалело глядя на меня в койке, тихо говорит: «Арестовали Костю Азадовского». Как? И Вадик рассказывает, как.

Утром он шел по переулку возле Садовой и вдруг увидел идущего навстречу Костю. Даже не успел поздороваться, Костя почему-то прошел мимо, но на ходу успел сказать: «Передай Гете, что меня арестовали. Подбросили наркотики». Всё. Растерянный, ничего не понявший Вадик пришел мне это передать.

Я до сих пор иногда себя спрашиваю, почему Костя просил передать это именно мне? Мы были не самыми близкими людьми. Думаю, просто потому, что, увидев Вадика, сообразил, что Жук из той же театральной среды, что и я, и он меня найдет. А уж я передам по цепочке.

И вот я лежу и совершенно не знаю, что делать. Но тут вспоминаю, что ровно подо мной живет Витя Топоров, который теперь пишет всякие злобные литературоведческие книжки. Вспоминаю, как однажды из нашего подъезда на меня вышли трое пьяных людей: Топоров, Лавров и Гречишкин, и Витя пытался нас знакомить, но опоздал, мы уже были знакомы через Костю. Значит, соображаю я, Витя Топоров тоже знает Костю. И я посылаю к нему Даньку. Витя, конечно, поднялся, я все ему рассказала: так, мол, и так, сообщите Лаврову и Гречишкину. Это уже потом обнаружилось, что матушка Вити, фантастически смелая женщина, прекрасный адвокат, не раз защищала диссидентов. В частности, Бродского.

Когда Азадовский вернулся в следственный отдел и занял свое место перед кабинетом следователя, то еще с полчаса был никому не нужен. Затем его пригласил Каменко и, помахав какими-то бумагами, сказал: «Следствию стало известно, что Вы уже в 1969 году привлекались по делу о наркотиках». После чего Азадовскому было предъявлено постановление об аресте. Выразительно взглянув на подозреваемого, Каменко в этот момент произнес: «Дело не в наркотиках, а в контактах». Было ли это сказано в порыве откровенности или по подсказке свыше, кто знает.

Ночь с 19 на 20 декабря, как и две следующие, Азадовский провел в КПЗ напротив Публичной библиотеки. Последним документом, который он подписал 22 декабря перед отправкой в Кресты, была доверенность на управление автомобилем «любому лицу по указанию моей матери», удостоверенная милицейской печатью. Вскоре в переулок Крылова прибыл автозак, и Азадовского принял конвой СИЗО № 1. Через час он уже был в Крестах.

Безжалостно, безучастно, без совести и стыда
воздвигали вокруг меня глухонемые стены.

Я замурован в них. Как я попал сюда?
Разуму в толк не взять случившейся перемены.

Я мог еще сделать многое: кровь еще горяча.
Но я проморгал строительство. Видимо, мне затмило,

и я не заметил кладки растущего кирпича.
Исподволь, но бесповоротно я отлучен от мира.

К. Кавафис. «Стены». Пер. Г. Шмакова

Глава 3

В ожидании суда

Книги и фотографии

Как мы упомянули, оперативники пришли за наркотиками, но углубились в изучение бумаг и книг. А когда добрались до коллекции фотографий, вызвали даже подмогу. Это в некотором смысле странно, поскольку четверо оперативников, ясно представлявшие себе, куда и зачем они идут, оказались совсем не готовы к обыску. Во всяком случае, 5 граммов анаши терялись на фоне тех сумок, которые они вынесли из квартиры Азадовского. Это обстоятельство получит в будущем свое объяснение.

Изъятые книги имели вполне очевидную направленность. В протоколе обыска значились: альбом «Марина Цветаева: Фотобиография» (Анн-Арбор, 1980); книги: Михаил Зощенко «Перед восходом солнца» (США, 1967), Борис Пильняк «Соляной амбар» (Чикаго, 1965), Евгений Замятин «Мы» (на немецком языке, 1975), «Письма Зинаиды Гиппиус к Н. Берберовой и В. Ходасевичу» (США, 1976); и др.

Но, повторимся, особый интерес у пришельцев вызвали фотографии. Вероятно, больше от безвыходности: все-таки ни сочинений Солженицына, ни текстов Сахарова обнаружено не было, даже в виде машинописи. А печатные издания, попавшие в протокол обыска, трудно было рассматривать как откровенную антисоветчину. Фотографий же оказалось много, к тому же все они относились приблизительно к одному периоду – началу XX века. Дело в том, что совсем незадолго до обыска собрание Константина Марковича пополнилось коллекцией фотографий его покойного друга Миши Балцвиника.

Михаил Абрамович Балцвиник (1931–1980) был выпускником отделения журналистики филологического факультета ЛГУ (1954), писал стихи. В начале 1960-х годов он попал в поле зрения органов: ему инкриминировалось «недонесение» на своих друзей, в т. ч. привлеченных «к ответственности». Он пережил обыск, допросы и «профилактические беседы» и в конечном итоге был исключен из партии, уволен с работы, отстранен от журналистской деятельности и навсегда лишен возможности работать по профессии. До конца жизни он зарабатывал себе на хлеб, числясь экономистом в отделе труда на ленинградской фабрике «Красный треугольник». В те годы он и начал собирать фотогалерею русских писателей XX века, и это новое увлечение стало для него смыслом жизни; он прекрасно фотографировал сам, а также умело переснимал фотографии литераторов начала века, главным образом из личных архивов. Именно стараниями Балцвиника были составлены свод фотографий Бориса Пастернака (он много переснимал тогда у Евгения Борисовича, сына поэта) и фотоальбом «Марина Цветаева», выпущенный Карлом и Эллендеей Проффер в неизвестном издательстве «Ардис» (США) – именно этот альбом и был изъят в ходе обыска у Азадовского.

Цветаевский альбом имел большой успех и выдержал впоследствии еще два издания. Однако хранить его у себя было небезопасно; в своих воспоминаниях Ирма Кудрова, автор текста к этому фотоальбому, признается: «Помню, когда мне передали с оказией экземпляр долгожданного альбома (первого издания), я даже не решилась держать его дома – и отдала его на хранение моему другу Эльге Львовне Линецкой. А она, кажется, передала его еще кому-то...»

У Азадовского же хранился другой экземпляр, который в действительности предназначался Михаилу Балцвинику, но опоздал всего ненамного... Передать этот альбом уже не пришлось – 14 апреля 1980 года Михаил в состоянии тяжелой депрессии покончил с собой,

выпив дозу лекарств, несовместимую с жизнью. Как написал его друг Сергей Дедюлин в парижской «Русской мысли», «в ночь с 13 на 14 апреля 1980, находясь один в своей квартире, М.А. выбрал для себя путь, показавшийся ему единственно возможным выходом». Нужно сказать, что, кроме труднейших личных обстоятельств, сыграла роль и общая давящая атмосфера той поры. Кроме того, совсем незадолго до смерти Балцвиник был вызван в Большой дом для очередной «профилактической беседы».

В тот роковой год он написал такое стихотворение:

Молитва о смерти

Есть минуты такого отчаяния
И такого безумия дни,
Что становится болью дыхание, —
О, проклятое существование,
Разорвись, уничтожься, усни!

Есть недели такой безнадёжности
И такой напряжённости страх,
Что и память о страсти и нежности —
Генерация мук безутешности,
И проклятьем скрипит на зубах.

Есть часы беспредельного ужаса
И такого кошмара порог,
За которым бессмысленны мужество,
Доброты и надежды содружество, —
И уходит земля из-под ног.

Есть такая тоска безысходности
И последняя горечь и дрожь,
От которых – мечта о бесплотности
И уверенность в непригодности, —
Мое сердце, Господь, уничтожь!

Пусть беспомощен в жизни и в горе я,
Но, о Боже, прости и даруй
Растворение фантасмагории:
Вознесение в дым крематория
И покой флегетоновых струй.

И в том же номере «Русской мысли», вышедшем 29 января 1981 года, было напечатано стихотворение без названия, посвященное «К.М.А.». К сожалению, К.М.А. не мог видеть этого номера, поскольку томился в Крестах, хотя стихотворение он знал – Миша Балцвиник написал его 27 февраля 1980 года, незадолго до смерти.

К.М.А.

Поблеклый снег и сажевая грязь

Уже настолько в душу нашу въелись,
Что озабочен – как бы не упасть —
Не замечаешь мартовскую прелесть
И, нахлобучив шапку и кашне,
Которое теперь прозвали шарфом,
Идешь по Петроградской стороне,
Грузовикам внимая, словно арфам.
А граждане врываются в хозмаг,
И деловито трусит даже моська,
И ты уже не бродишь просто так —
Стоишь в очередях, скупаешь брак,
Таща портфель взамен былой авоськи.
А в нем – стихи о том, что даже тень
О дикие колосья поистерлась...
Но день высок, как всякий Божий день,
И высь зеленоватая простерлась
Над воздухом, в котором океан,
А, впрочем, извиняюсь, нынче это —
Название магазина, что нам дан
Для обличенья нашего скелета,
Чтоб с поздней аффектацией поэта,
Прозрев, завывать: «Карету мне, карету!»

И все-таки есть в воздухе микроб,
А может, звать его гидроионом,
Который сохранит вас удивленным,
Чтоб выстоять и не подохнуть чтоб
Среди туземцев, матерных стоувно,
На улице, уродливой, как гроб,
С пивным ларьком и квашеной капустой.

А в городе господствует вода,
И млеют легкие в предчувствии ледохода,
Уныло верховодит суэта,
В контрасте с ней задумчива природа.
Жизнь продолжается, не ведая невроза,
Пушистым облачком взрывается мимоза,
И ясно, как бессмысленны слова,
Когда вот-вот появится трава,
Что истиннее фраз полуживых,
Где куча прегрешений против вкуса,
Где нет императива Иисуса
И даже боли, диктовавшей их,
И где хозяйствуют, приличия отбросив,
Отчаянье, безвыходность, Иосиф.

Вдова Балцвиника, согласно предсмертной записке ее покойного мужа, передала всю коллекцию фотографий – две с половиной тысячи отпечатков и негативы – Константину Азадовскому. Когда после его ареста по городу поползли разного рода фантастические слухи, то рас-

пространилась, в частности, и такая версия: иностранцы якобы предлагали ему деньги за это замечательное иконографическое собрание и, если бы не вмешались ленинградские органы, оно могло бы отправиться на Запад. Но Азадовский вовсе не собирался этого делать и позднее, уже в 1990-е годы, передал все собрание в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, где оно и хранится поныне.

Из огромного количества фотографий оперативники отобрали 20 отпечатков. Вот их список согласно протоколу обыска:

1. Фотокопия свидетельства о рождении Н.С. Гумилева.
2. Фотография Н.С. Гумилева.
3. Фотография Н.А. Клюева 1933 г.
4. Фотография Б.Л. Пастернака с дарственной надписью М.И. Цветаевой.
5. Фотография трупа С.А. Есенина.
6. Фотография Есенина, Клюева и Вс. Иванова.
7. Фотография Есенина с двумя неизвестными лицами.
8. Фотография Клюева у гроба Есенина.
9. Фотография Н.А. Клюева.
10. Фотография Клюева с неизвестным.
11. Фотография Клюева и А.Н. Яр-Кравченко.
12. Фотография Есенина в гробу.
13. Фотография А. Блока в гробу.
14. Фотография трупа Есенина.
15. Фотография Клюева с дарственной надписью.
16. Фотография Н.А. Клюева.
17. Фотография Н.А. Клюева с подписью «Клюев 1928».
18. Фотография М.И. Цветаевой и ее мужа, С.Я. Ефрона <!=> 1911 г.
19. Фотография трупа В.В. Маяковского.
20. Фотография И. Северянина.

Критерии, определившие отбор и изъятие фотографий, видны невооруженным глазом: здесь преимущественно поэты, кончившие свои дни либо в петле, либо от большевистской пули. Зачем изымались именно эти фотографии? Вероятно, когда еще не был окончательно решен вопрос об уголовной статье, которая станет обвинительной для Азадовского, сохранялась вероятность применения статьи 190-1 УК – «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Кроме того, впоследствии вдова М. Балцвиника расскажет, как в 1981 году сотрудники КГБ СССР приходили к ней и настойчиво требовали показаний относительно этих фотографий: дескать, что они незаконно попали к Азадовскому. Казненные или добровольно ушедшие из жизни поэты вполне могли в этом случае пополнить «доказательную базу».

В связи с фотографиями можно сказать и о том, что следственные органы, уже безотнositельно к Азадовскому, испытывали большое любопытство к «обществу мертвых поэтов». Через несколько лет выяснится, что некоторые из фотографий были скопированы («для себя») сотрудником научно-технической лаборатории угрозыска, а также ходили по рукам среди милицейского руководства – всем было любопытно увидеть Есенина в петле... И однажды, отправившись в очередной раз «по начальству», фотографии не вернулись к следователю. И хотя Каменко, объясняя пропажу, будет пенять на «неисправность сейфа», истинная причина – нездоровый интерес начальства к покойникам.

Особое внимание следствие уделило оборотной стороне фотографий. Дело в том, что на нескольких имелись архивные штампы с указанием номеров фонда и описи. Ленинградским юристам, далеким от работы в архивохранилищах, это показалось подозрительным, и кому-то

из них пришла в голову счастливая мысль – попытаться вменить Азадовскому кражу из госархива. Только после экспертизы, проведенной в Музее ИРЛИ, стало очевидно, что применить еще одну уголовную статью не получится. Органы ведь не знали, что по правилам копирования документов, находящихся на государственном хранении, на любой официально выданной копии в обязательном порядке ставился (и ставится – согласно нормам, действующим поныне) штамп архива, а также указание на единицу хранения (фонд – опись – дело), с которой сделана копия.

Впрочем, среди изъятых фотографий была одна, не имевшая ни малейшего отношения к русской поэзии. В протокол обыска она попала из-за своего вызывающего содержания; на ней, как выскажется впоследствии экспертиза Главлита, были изображены «главари фашизма, диссидент-антисоветчик Солженицын и другие одиозные личности».

Как можно видеть, набор изъятого при обыске по делу о наркотиках отличался сильным уклоном в сторону изобразительных материалов и печатного слова. Было ли это случайностью? Нельзя в этой связи не упомянуть об одном поразительном совпадении – и по хронологии, и по существу. 16 апреля 1980 года тот же капитан Арцибушев, чья специализация, как мы знаем, заключалась в расследовании преступлений, связанных с наркотиками, руководил обыском по другому аналогичному делу – у ленинградского поэта Льва Друскина (1921–1990), инвалида-колясочника. Ровно так же, как и в случае с Азадовским, повод для обыска был создан искусственно, и ровно так же изымалась литература «антисоветского содержания». Приведем пространный фрагмент из «Спасенной книги» Льва Друскина:

...Их было пятеро.

Интересное получилось зрелище. По одной стенке лежу я, по другой на диване лежит Лиля со сломанной ногой, а посредине – если учесть размеры комнаты – целая толпа.

– Арестован ваш знакомый.

– Кто?

– Полушкин.

Я (недоуменно):

– Впервые слышу эту фамилию.

И неожиданный вопрос:

– В больнице Урицкого лежали?

– Ну, лежал.

– Полушкин санитар. Арестован за кражу наркотиков.

– Да я-то тут при чем?

– Сейчас поймете. Вот ордер на обыск.

Читаю и не верю глазам: «В квартире Друскина имеется много импортных лекарств, в том числе и наркотиков».

– Так вы что, наркотики собираетесь искать? – удивился я.

Он подтверждает. Пожимаю плечами:

– Ищите.

Начальник группы инспектор Арцибушев распоряжается <...>

Представление началось. Искали небрежно – скорее не искали, а притворялись. Заглядывали в цветочные вазы, вывернули косметическую сумочку, развинтили губную помаду. Один из обыскивавших подошел к подоконнику, покопался для вида в коробке с лекарствами, явно ничего в них не понимая, и притронулся к папкам. Сердце у меня екнуло.

– Это мои рукописи, – сказал я резко.

Он послушно отошел.

Так они потоптались минут двадцать. Арцибушев лениво наблюдал за обыском.

– Наркотиков не обнаружено, – констатировал он. И оживившись:

– А теперь надо поискать в книгах – нет ли там наркотических бланков?

– Ах вот что, – протянула Лиля, – книги...

Сгрудились у шкафа, вынули томик, другой. Стал обнажаться второй ряд.

Наигранно-изумленный возглас:

– Ой, да тут заграничные издания!

И к Арцибушеву:

– Что будем делать?

– Это не по нашей части. Надо позвонить.

Позвонили.

– Мы на Бронницкой по наркотикам. Обнаружены нехорошие книги.

«Континент»? Нет... кажется, нет. Почитать названия? «Зияющие высоты». – (Ох, недаром я не люблю эту книгу – подвела, проклятая!) – Брать все подряд, потом разберетесь? Хорошо.

Лиля села в коляску, подъехала к шкафу:

– Чего уж там – все равно попались: не взяли бы лишнего.

Они время от времени балдели, не могли разобрать «Ахматова феэргешная и наша – почему ту брать, а эту на место?» Лиля еле отбила «Москву 37-го» [Лиона Фейхтвангера. – *П.Д.*].

– Да вы что? Советское издание. Не отдам. Колебались: про 37-й год – как можно? Но все-таки отступили.

Зато конфисковали переписку Цветаевой с Тесковой.

– Это же издано в братской Чехословакии, – убеждала Лиля, – без этой переписки не обходится ни один диссертант.

Какое там. Напечатано за рубежом. И книжка полетела в общую кучу.

Не шарили ни на стеллажах, ни в кладовке, ни на антресолях: заранее знали, где находится добыча.

– Что же вы бланков не ищите? – напоминали мы. Они только отмахивались.

– Господи, книг-то как жалко! – шептала Алла [соседка, приглашенная понятой].

Еще бы не жалко! Книги появлялись из шкафа – преступные, арестованные, униженные этим грубым сыском: Цветаева, Мандельштам, Короленко, Набоков – весь русский Набоков!

А это что? Ну, конечно, – Библия, Евангелие... и факсимильные – «Огненный столп», «Белая стая», «Тяжелая лира».

Художественных альбомов не брали. Не тронули и Эмили Дикинсон – очевидно, спутали с Диккенсом.

Особенно старался один – низенький, коренастый, со стертым, незапоминающимся, но очень противным лицом. <...>

– Поднимите подушку.

– Сами поднимайте! – вспыхиваю я.

Поднял, бесстыдник.

– Одеяло откинуть?

Не отвечая на издевку, он направляется к пианино, снимает крышку.

– Осторожно – взорвется!

И снова взгляд, полный ненависти.

Какое-то наваждение! Как в дурном сне, ходят по комнате чужие люди, роются в вещах, в мозгу, в моей прошлой и будущей жизни. А я наблюдаю будто со стороны – вот как это бывает.

Шел третий час обыска. Арцибушев пристроился к столу составлять протокол. Ему диктовали список изъятой литературы, спотыкаясь на каждой фамилии: Мендельштамп, Маерангов...

Заполненные листки складывали на телевизор. Их было несколько, а в них, выражаясь по кагэбешному, содержалось 128 пунктов.

И вдруг послышался горестный возглас милиционера. Оказывается, наш кот Иржик прыгнул на телевизор и стал точить когти об эти листки. Протокол был жестоко изорван, покрыт мелкими треугольными дырочками.

– Один мужчина в доме! – сказала Лиля.

Трудно себе представить, как расстроился Арцибушев. Он долго советовался со своими: как быть – составлять все заново или можно подклеить. Устали как собаки, сошлись на втором, но очень опасались выволочки.

Как мы их презирали! Это было, пожалуй, основное чувство, которое мы испытывали.

Наконец прозвучали долгожданные слова:

– Обыск окончен.

Прозвучали для нас, но не для коренастого. Он продолжал перетряхивать коллекционных американских кукол.

– Полюбуйтесь, – съязвила Лиля, – прямо горит человек на работе.

Все грохнули.

Возмездие наступило сразу. Коренастый подошел к дивану и ткнул пальцем в маленькую полочку, забитую журналами и газетами.

– А там у вас что – книга?

– Книга, – вздохнула Лиля, – могли бы и не заметить. – И вытащила свежий беленький «Континент».

Когда я подписывал протокол, меня спросили:

– Вы к нам претензий не имеете?

– Нет. А вы к нам?

И услышал:

– Нет, что вы. Вы же пострадавшая сторона.

Надо же! Никак жалеют?

Явился еще один мужик – с тремя мешками.

– Видите, до чего нас довели? Оба слегли в постель.

Он принял реплику всерьез и виновато ответил:

– У них работа такая.

Трех мешков не понадобилось. Добыча уместилась в одном, не заполнила и половины. Вероятно, улов оказался гораздо меньше ожидаемого...

Тем все и кончилось. С этого все и началось.

Действительно, с этим обыском для Друскина кончилась одна жизнь – в СССР и началась другая – на Западе. 10 июля 1980 года его «за действия, несовместимые с требованиями устава СП СССР, выразившиеся в получении из-за рубежа и распространении антисоветских изданий, в двуличии, в клевете на советское государство и советских литераторов» исключили из Союза писателей, а 12 декабря 1980 года вместе с женой, собакой и котом выдворили из Советского Союза. Приземлившись в Вене, Друскины вскоре поселились в западногерманском

Тюбингене. При этом для Друскиных не было секретом, что их дело расследуется КГБ, а ведет его непосредственно Павел Константинович Кошелев, который впоследствии станет подполковником госбезопасности, «руководителем отдела по борьбе с идеологическими диверсиями» УКГБ по Ленинградской области. Так что вопрос о том, кто стоял за этим обыском, формально проводившимся Арцибушевым с целью поиска наркотиков, остается открытым.

Отъезд Друскиных в год Олимпиады вполне отражает то, что происходило в действительности: одних людей выдавливали из страны, а других, кого нельзя выдать, отправляли в ссылку. Так 12 января 1980 года был задержан и отправлен в Горький академик Сахаров – с его уровнем секретности не могло быть и речи о выезде на Запад. Да и Константину Марковичу не приходилось, по-видимому, рассчитывать на такую поблажку.

Сопротивление

Учитывая то положение, которое занимал Константин Азадовский на небосклоне ленинградской интеллигенции, его арест не мог пройти незамеченным. А казавшееся абсурдным обвинение еще более привлекло внимание к этому факту. Когда слух об аресте распространился, друзья и коллеги стали обдумывать будущие действия. С одной стороны, чтобы придать этому делу гласность, с другой – указать на политическую подоплеку. Их спонтанные действия не оказались напрасными: дело о хранении 5 граммов анаши быстро получило диссидентскую окраску (хотя, повторимся, де-факто Азадовский, конечно, не принадлежал к диссидентам – он был всего лишь свободно мыслящим человеком и ученым).

«Защита Азадовского» как совокупность усилий ученых и писателей во многих странах будет разворачиваться несколько позднее; поначалу же вся активность оказывается делом его ближайших друзей. Собственно, именно арест сформировал «инициативную группу», сложившуюся легко и естественно. Если бы Азадовский прикидывал заранее, кто не отвернется от него в подобной ситуации, то перечень этих людей был бы, вероятно, иным. К счастью, большинство друзей и знакомых Кости и Светланы оказались на высоте – не отделились от них, более того – помогали матери, составляли письма, собирали подписи...

Логика действий была проста; ее формулирует в своих воспоминаниях Генриетта Яновская:

Адвокат Кости Зоя Николаевна Топорова и люди, имевшие какое-то отношение к диссидентству, мне четко объяснили план наших действий: вокруг Кости, если мы его хотим спасти, постоянно должен быть шум, тогда ему ничего не сделают. Все время надо двигаться, как в мороз, чтобы не замерзнуть.

Сегодня трудно сказать, как было бы правильней поступить. Другой вариант, тоже вполне резонный, – полностью затаиться, дожидаться хотя бы суда, чтобы не нагнетать ситуацию вокруг арестованных. Тогда, мол, и суд не будет рассматривать дело как политическое. С другой стороны, начало милицейского расследования было настолько резвым, что нельзя было предугадать, не отыщется ли что-то еще, и притом посерьезней, в процессе следствия.

Чтобы представить себе число добровольцев, вступивших в это «сопротивление», дадим алфавитный перечень тех, чья помощь Светлане и Константину запечатлена в документах или письмах к ним обоим «с воли». Эти люди содействовали Азадовским в различной степени: кто-то откликнулся сразу же, кто-то присоединился позднее, но, что важно, все они, находясь в той же системе координат и хорошо понимая риски, сопряженные с такого рода афронтом в Стране Советов, не испугались, не дрогнули. Собственно, доказали свою дружбу и нравственную зрелость в тот критический момент. Вот их имена и фамилии:

Анатолий Белкин, Алла Белкина, Николай Браун, Татьяна Буренко, Зигрида Ванаг, Кама Гинкас, Яков Гордин, Сергей Гречишкин (1948–2009), Вадим Жук, Людмила Жумаева, Лидия Капралова, Нина Катерли, Юрий Клейнер, Альбин Конечный, Владислав Косминский (1936–2014), Елена Кричевская, Ксения Кумпан, Александр Лавров, Ася Латышева, Георгий Левинтон, Джаневра Луковская, Татьяна Никольская, Татьяна Павлова, Александр Парнис, Борис Ротенштейн, Юрий Русаков (1926–1995), Алла Русакова (1923–2013), Ольга Саваренская (1948–2000), Валентина Санникова (1945–2013), Игорь Смирнов, Николай Сулханянц, Мариэтта Турьян, Борис Филановский, Юрий Цехновицер (1928–1993), Татьяна Черниговская, Бэлла Ефимовна (1921–1999) и Кирилл Васильевич (1919–2007) Чистовы, Марина Шустерман, Лев Щеглов, Генриетта Яновская...

Этот список был бы намного длинней, если бы мы включили в него имена и фамилии всех, кто навещал Лидию Владимировну и заботился о ней, проявлял к ней внимание, посылал Азадовскому – через общих знакомых – приветствия и слова поддержки, а также – имена и фамилии граждан других государств. Но мы оставили в нем только соотечественников, – тех, кто, пренебрегая опасностью, использовал все свои возможности – творческие, финансовые, интеллектуальные, даже служебные, – чтобы придать общественный резонанс «делу Азадовского». Так стал именоваться тот снежный ком, который разрастался вокруг их ареста. Немало усилий для освобождения сына приложила и Лидия Владимировна, принявшая, насколько ей позволяли здоровье и возраст, энергичное участие в «сопротивлении».

В этой группе были свои «активисты» (Зигрида Ванаг, Александр Лавров, Генриетта Яновская и др.). Именно этой небольшой группой лиц было составлено несколько информативных документов, переданных затем в Москву. И вот в номере «Хроники текущих событий» от 31 декабря 1980 года – спустя всего 10 дней – появилось сообщение об аресте Светланы и Константина.

А в январе 1981 года, когда стало понятно, что не произошло никакой «ошибки» и что ни Костю, ни Свету уже не выпустят, они составили и переправили на Запад, прежде всего на Радио «Свобода» (Radio Free Europe / Radio Liberty), своего рода Curriculum Vitae Константина Азадовского. Он был использован для новостных передач «Голоса Америки», Би-би-си, «Немецкой волны», пересказан в иностранной прессе и тогда же размножен в «Материалах Самиздата», печатавшихся в Мюнхене. Приводим этот текст:

К.М. Азадовский – арестован утром 19 дек. 1980 после проведенного у него в квартире обыска по ст. 224 ч. 3 Угол. кодекса РСФСР (хранение наркотиков без цели сбыта). Накануне вечером, у подъезда его дома была арестована его гражданская жена Светлана Ивановна Лепилина, у которой при задержании были обнаружены наркотики (сведения эти были получены Азадовским, видимо, со слов лиц, производивших обыск). К.М.А. заявил во время обыска (по свидетельству присутствовавшей при обыске его матери, Л.В. Брун), что наркотики были подброшены ему бригадой, производившей обыск (обнаружены 5 гр. наркотического вещества, по протоколу – кокаина; следователь, однако, говорил о гашише, анаше). Обнаруженные наркотики были единственным веским основанием для ареста. Согласно протоколу, у К.М.А. были изъяты также некоторые книги зарубежных издательств (на русском и иностранном языках: роман Замятина «Мы» в немецком переводе, книги издательства «Ардис» – сборник произведений Б. Пильняка, Письма З. Гиппиус к Н. Берберовой и В. Ходасевичу, фотоальбом М. Цветаевой, сборник стихов И. Бурихина и т. п.), фотографии русских поэтов (Маяковский, Клюев, Есенин, Блок, Цветаева и др.), купюра в 5 западногерманских марок. Во время обыска наркотики практически не искали: осталась неосмотренной комната матери, а также стоявший во дворе автомобиль К.М.А., не была полностью обследована и его собственная комната. К.М.А. в последние 5 лет, до ареста, был заведующим кафедрой иностранных языков Ленинградского художественно-промышленного училища им. В. Мухомовой. С 1959 по 1980 г. им выпущено в свет около 90 печатных работ. Он выступает как переводчик с западноевропейских языков (немецкий, испанский, английский, французский) – переводы стихов, прозы, драматургии. Наиболее значительные работы в этой области: переводы романа В. Кёппена «Голуби в траве» (вышел двумя изданиями), его же новеллы «Юность», драмы Эдена фон Хорвата «Туда-сюда», стихотворений Фр. Геббеля, П. Целана, Р. Альберти, Р. Дарио, М. Эрнандеса, Р. – Г.

Каду, стихотворений, статей и писем Р.М. Рильке. В переводе К.М.А. была издана пьеса Шейлы Дилени «Вкус меда» и поставлена на сцене Ленинградского Малого драматического театра (постановка пользовалась успехом и оставалась в репертуаре театра 6 лет). В 1971 г. К.М.А. защитил кандидатскую диссертацию «Ф. Грильпарцер – национальный драматург Австрии (истоки и философско-эстетическая проблематика творчества)». Творчеству Грильпарцера посвящены несколько его статей. Основные направления литературоведческой деятельности К.М.А. – история немецкой литературы, история русской литературы конца XIX – начала XX вв., взаимосвязи русской и немецкой литератур. К.М.А. – крупнейший в СССР исследователь творчества Рильке, ему принадлежит ряд исследований и публикаций на тему «Рильке и Россия» (в том числе статьи: Рильке и Горький, Рильке и Л.Н. Толстой, Русские встречи Рильке, Рильке и А.Н. Бенуа: переписка и др.). Неизвестные ранее материалы и, прежде всего, письма Рильке, собранные по архивным источникам СССР, объединены в подготовленной К.М.А. книге «Рильке в России» – договор на ее издание был заключен с издательством «Insel». В 1980 г. вышла в итальянском переводе неизданная переписка Рильке, М. Цветаевой и Б. Пастернака, подготовленная К.М.А. совместно с Е.В. Пастернак и Е.Б. Пастернаком. Намечены к изданию французский перевод этой книги и ее двуязычное издание в ФРГ. Обе книги были представлены для издания официальным путем через ВААП (Всесоюзное агентство по охране авторских прав). К.М.А. обнаружены и опубликованы также письма С. Цвейга, новые документы, характеризующие русские связи Т. Манна. Совместно с В. Дудкиным им написано обширное исследование «Достоевский в Германии» (1846–1921), опубликованное в 86-м томе «Литературного наследства» («Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования»). Совместно с Д.Е. Максимовым – столь же фундаментальное исследование «Брюсов и “Весы” (из истории издания)» («Литературное наследство», т. 85. «В. Брюсов»). К.М.А. – наиболее авторитетный в СССР исследователь творчества Н.А. Клюева и так называемой «новокрестьянской поэзии» начала XX в. Им выявлены и опубликованы неизвестные стихотворения и статьи Клюева, напечатаны объемистые статьи, основанные на никогда не вводившихся в исследовательский обиход материалах провинциальных архивов: «Раннее творчество Н.А. Клюева», «Есенин и Клюев в 1915 г.». В 1981 г. должны были выйти в свет большие публикации К.М.А. в томах «Литературного наследства», подготовленных к юбилею А. Блока («Александр Блок. Новые материалы и исследования»): «Письма Н.А. Клюева к Блоку» (публикация с большой вступительной статьей и комментарием, около 10 печатных листов), «Блок в дневниках Ф.Ф. Фидлера», «Воспоминания Иоганнеса фон Гюнтера о Блоке» (перевод фрагментов из книги Гюнтера, со статьей и комментариями).

В последние годы исследовательские и архивные разыскания К.М.А. снискали большую популярность. С докладами и сообщениями о выявленных им рукописных материалах Рильке, Цветаевой, Клюева и др. он неоднократно выступал в Ленинградском Доме писателей им. Маяковского, на научных конференциях в Москве (Блоковская юбилейная конференция в Центральном государственном архиве литературы и искусства), Тарту (Всесоюзная Блоковская конференция) и др. Секция переводчиков Ленинградского отделения Союза писателей ходатайствовала о принятии К.М.А. в члены

Союза писателей, рекомендовали его акад. Д.С. Лихачев, проф. В.Г. Адмони, известная переводчица Р.Я. Райт-Ковалева. Голосованием Приемной комиссии кандидатура К.М.А. была отведена (7 против 4), возможно, в предвидении последующего ареста.

Статьи, переводы, публикации К.М.А. печатались в наиболее авторитетных и ведущих советских изданиях («Литературное наследство»; журналы «Русская литература», «Вопросы литературы», «Новый мир», «Звезда»; «Литературная газета»; переводы печатались в серии «Библиотека всемирной литературы»).

К.М.А. оказался душеприказчиком и наследником коллекции фотографий погибшего М.А. Балцвиника, выдающегося коллекционера. Известны попытки следствия выявить какие-то операции, которые можно было бы инкриминировать К.М.А. в связи с этой коллекцией.

Репутация К.М.А. в какой-то степени подкрепляется и тем, что он – сын одного из крупнейших советских филологов, М.К. Азадовского, одного из создателей советской фольклористики, исследователя жизни и творчества декабристов, многих писателей XIX в., в частности – литературы Сибири. В 1969 г. К.М.А. привлекался свидетелем по делу Е. Славинского, обвиненного в распространении наркотиков (точнее – т. к. доказать какую-то корысть в его действиях следствию не удалось – в притондержательстве); за отказ от дачи удобных следствию показаний К.М.А. был исключен из аспирантуры Ленинградского Педагогического института им. Герцена и вынужден несколько лет преподавать в г. Петрозаводске.

Ровно таким же образом на рубеже января – февраля в «Материалах Самиздата» появился еще один релиз, в котором содержалась сводка версий относительно причин уголовного преследования:

Для оценки случившегося следует учитывать ряд обстоятельств, о которых ниже.

Отец К.М. Азадовского, выдающийся русский фольклорист Марк Константинович Азадовский, был одной из жертв борьбы с «космополитизмом» наряду с другими профессорами Ленинградского Университета (1949 г.). Сам К.М. Азадовский также был уже однажды подвергнут административным гонениям: в 1969 г. он был привлечен в качестве свидетеля по делу Ефима Славинского, имевшему явную политическую подоплеку (КГБ стремилось пресечь обильные контакты Славинского с иностранцами), но оформленному как уголовный процесс (Славинский обвинялся в хранении и распространении наркотиков); бескомпромиссное поведение Азадовского на этом процессе привело к тому, что он был лишен возможности работать по специальности в Ленинграде после окончания аспирантуры Педагогического института им. Герцена и был вынужден долгое время жить в Петрозаводске. Заведая кафедрой в училище им. Мухиной, Азадовский добился (через суд) увольнения с работы сотрудника той же кафедры некоего Равича ввиду нарушения им трудовой дисциплины; Равич угрожал Азадовскому использовать в целях мести свои связи с КГБ. В 1979 г. Азадовский с немалыми трудностями добился того, чтобы суд наказал некоего Ткачева, оскорбившего действием Лепилину и самого Азадовского; и в этом случае Ткачев угрожал Азадовскому мстью, для которой он намеревался использовать служебное

положение своего родственника, капитана ленинградской милиции. По мнению ленинградской интеллигенции, арест Азадовского был произведен в качестве меры по запугиванию всех лиц, которых КГБ подозревает как носителей неофициальной идеологии. Азадовский был выбран на эту роль, вероятнее всего, по следующим причинам: 1) он хорошо известен самым разным группам интеллигенции (писательская среда, академические круги и т. д.) как в Ленинграде, так и в Москве; 2) он хорошо известен на Западе, и поэтому процесс над ним позволяет КГБ проследить за тем, как Запад будет реагировать на наглую провокацию; 3) то обстоятельство, что Азадовский имеет личных врагов и что он уже выступал однажды в роли свидетеля на уголовном процессе, дает КГБ удобную возможность остаться в тени, не привлекая к себе общественного внимания. Достаточно ясно, что само стремление КГБ запугать интеллигенцию является откликом на события в Польше. Весьма возможно, что дело Азадовского призвано возродить память о гонениях на «космополитов», имевших место в 1949 г.

Нам представляется важным сопроводить этот текст комментарием о «событиях в Польше». Осенью 1980 года в Польше в результате массовых забастовок рабочими был создан независимый всенародный профсоюз «Солидарность», лидером которого стал Лех Валенса. Довольно быстро рабочими стали выдвигаться и политические требования, а экономический кризис усугублял критическую ситуацию, парализовавшую всю страну. Напряжение нарастало в течение всего 1981 года, и в декабре деятельность «Солидарности» была подавлена Войцехом Ярузельским, который ввел военное положение и интернировал несколько тысяч активистов. Этот процесс противостояния власти и общества в Польше, неуклонно нараставший и не закончившийся в 1981 году, привлек к себе внимание всего мира. И именно события в Польше, вернее, страх перед ними вызвали к жизни волну репрессий в СССР, особенно в 1981–1982 годах.

Вернемся к «сопротивлению».

Благодаря усилиям А.В. Лаврова и С.С. Гречишкина, молодых историков литературы, научных сотрудников Пушкинского Дома, появилось на свет «письмо докторов наук»: шесть маститых ленинградских филологов просили прокурора Ленинграда С.Е. Соловьева отпустить Азадовского из-под стражи до суда. Письмо подписали Б.Я. Бухштаб, Л.Я. Гинзбург, Б.Ф. Егоров, Д.Е. Максимов, В.А. Мануйлов, И.Г. Ямпольский. Обстоятельства возникновения этого письма были изложены впоследствии А.В. Лавровым в статье, посвященной Д.Е. Максиму:

Подвластность господствовавшей идеологической атмосфере – и прежде отнюдь не полная и не безраздельная – к тому времени, когда мне довелось близко узнать Дмитрия Евгеньевича, была им всецело преодолена. Смерд «развитого социализма» он воспринимал совершенно однозначно – с отвращением, от года к году выражая свои эмоции все более прямо и откровенно. С большим воодушевлением реагировал он незадолго до кончины на первые проблески свободы, замаячившей в начале горбачевского правления, досадуя лишь, что не суждено ему на девятом десятке лет этой свободой воспользоваться. По натуре требовательный к себе и другим, обостренно переживавший порой даже незначительные нюансы в своих взаимоотношениях с людьми, он с резкой нетерпимостью реагировал на все те многообразные проявления подлости и безнравственности, которыми была перенасыщена окружающая социальная среда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.